

Ш 90

**НОВОСТИ
ГРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

КАРЛ ШТЕРНГЕЙМ

**ЧЕТЫРЕ
НОВЕЛЛЫ**

**„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО**

39090/

1044
18/11



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ш 90

КАРЛ ШТЕРНГЕЙМ

CARL STERNHEIM

ЧЕТЫРЕ НОВЕЛЛЫ

ПЕРЕВОД
В. ЗОРГЕНФРЕЯ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Е. ЗАМЯТИНА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР

№ _____

Истор. библ.



39090/160

✓

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГ — МСМХХIII — МОСКВА

47/4

ЧЕТЫРЕ НОВЕЛЛЫ

VIER NOVELLEN

1918

Петрооблит № 4949. Гиз. № 5133.

Печ. 5150 экз. Зак. № 536.

Госуд. Трест „Петропечат“ — тип. им. Евг. Соколовой, Петроград, Измайл. 29.

ВАНДЕРБИЛЬТ

VANDEBILT

В нижнем этаже, в пяти комнатах жили супруги Принцц à l'aise. Мебель двух салонов, одной столовой и двух спален была на роскошь французско-королевских стилей. В уходящей к небесам кровати Людовика XVI спала госпожа Принцц, на ложе красного дерева, ампир — он. У каждого предмета в отдельности не хватало ножки, верха, фарфор был оббит по краям, но всякий предмет мог сойти за символ более совершенного. Когда речь заходила о дворце господина Фейзенберга, о замке Линдергоф или даже о Версале, можно было пояснить: вещь в роде этого шкафа, стола, стула, и нетрудно было представить, чего не хватает для подлинного великолепия.

И в кушаньях — тоже были только намеки. Подавался легкий суп, который при наличии мяса и приправ мог бы быть и бульоном, добавочные блюда, которым для шика не хватало лишь содержимого, и телячьи котлеты или кусок говядины, производившие сенсацию не меньшую, чем десятифунтовое жаркое из того же мяса. Сочный фрукт — яблоко, груша или орех, поделенный на две части, составлял лакомый десерт супружеской четы. Под аромат чистого мокка и русских папирос пищеварение совершалось с изысканностью.

Безупречен был также, в домашней обстановке, их туалет. Когда они сидели друг против друга за столом не вполне одетые, то уже по галстуку, по бантику можно было видеть, что будет дальше. Прическа жены,

ослепительно-белый среди черных волос пробор мужа доминировали над поизносившимся халатом, да и блеск ногтей не допускал сомнений относительно дальнейшего.

Неизменно величественны были жесты. С достоинством передавалось почти пустое блюдо, наливалась в воздухе вода в стакан, с тонкой улыбкой. Часто еще рука сотрясалась при этом особенным образом, так что звенел браслет, манжеты. Если на столе стояла бутылка вина, то торжественно поднимался бокал, и за шелковыми ресницами и моноклем блистал изысканно взгляд.

В качестве апофеоза и величественного заключения оставалось придумать немного. Громкие имена из всех культурных областей были под рукою. Шатобриан и Ларошфуко перемешивались жалостно с самым незамысловатым жаргоном, а автор дешевого романа сравнивался с Свифтом и Стендалем. Чувство, поскольку ему не хватало глубины, возмещалось убийственным пафосом. Если не под силу было чем-нибудь воодушевиться так же быстро, как люди действительно взволнованные, то супруги Принтц, выдавливали слезу на глаза или пожимали окружающим руки. Или госпожа Принтц падала в кресло, или господин Принтц осторожно проводил платком по лбу, словно утирая пот. Каждое обстоятельство, представлявшееся общественно-ценным, ощущалось ими с жаром на градус большим, чем у самых впечатлительных.

Зато все, что не встречало признания знатоков, отклонялось резко и с раздражением. В этих случаях выражение лиц у супругов становилось как у саксонских стряпчих, и ничем нельзя было смягчить их сердце. Человека, отвергаемого светским кругом, они называли мошенником высокой марки.

До простого народа они не опускались. Словно бронзовые статуи сидели в трамвае среди обыкновенной

шушеры. В словах, обращенных к лавочнику или слуге, был металлический звук и начальническая интонация. Равным по положению статный господин Принтц дружески клал руку на плечо и находил чужое мнение прелестным.

Но взгляды высокопоставленных были для них неким провозвестием. Когда высказывался генерал или член высшего наблюдательного комитета, супруги без напряжения проявляли растроганность, и всякий раз выходило так, будто явлен абсолютный смысл вещей.

На собственное мнение они не дерзали. Всем существом чуяли: с пятнадцатью тысячами ренты от капитала жены они могли внешне изображать богатых. Но суждения при таком доходе они не могли себе позволить. Для этого, полагали они, требуется, как предпосылка, большой дом, многочисленная прислуга и знаменитая коллекция книг или картин. Словом, сто тысяч марок дохода.

Как в партнере, без которого не пойдет игра жизни, нуждался Альфонс-Александр в Евгении. Она ценила в нем неистовую волю к завоеванию места в высшем свете, хотя темнее ее собственного было его происхождение и он не внес талантов, дающих на это право. Но он был инициатором их возвышения, и она шла за ним как дрессированное животное за дрессировщиком. Готовность к прыжку любила она в нем, ту пружинность, с которой он проникал в каждое положение, и боготворила те отходы серединою сцены, с трубами и литаврами, которые напоминали ей о Фортинбрасе.

Выяснилось: с пятнадцатью тысячами марок годового дохода все равно невозможно было поддерживать ту жизнь, которую приходилось поддерживать. Если даже присоединяться к друзьям в дорогих ресторанах уже после обеда и, ссылаясь на то, что знакомые тебя закармлили, требовать себе только кофе и ликер, если брать на Карузю

одно место, сменяя друг друга через действие, то все-таки общение с богатыми людьми требует непрестанных расходов. Таким образом, к тому времени, когда без ведома Альфонса образовался порядочный долг по хозяйству, Евгения с тяжелым сердцем решила согласиться на уплату самых неотложных долгов одним из друзей, кавалерийским офицером фон-Бенкеном, и через два года, когда состояние Бенкена достигло крупной цифры, — сделаться его любовницей, будучи уверена, что этика высшего света требует, в отношении связей, такого рода такта.

Сначала она боялась, что слишком частое, в конце концов, появление Бенкена в их доме может возбудить неудовольствие и подозрительность Альфонса. К счастью, однако, супруг ее объявил фон-Бенкена наиболее изящно одетым человеком во всем городе, без оценок одобрил его костюмы, изготовленные в Риджент-Стрите, и испросил у друга позволение заказывать своему дешевому портному копии выкроенных для него Эдуардом и Беттлером фасонов.

Такая черта в муже, отнюдь не огорчив Евгению, тронула ее. В Альфонсе, преимущественно перед другими мужчинами, трепетала воля эпохи — во что бы то ни стало пробиться к намеченной цели, и мелочных препятствий для сурового борца не существовало. Его душевный напор отличался, как и ноги, мускулистостью. Поэтому она предложила супругу невероятно дорогого верхового коня своего любовника, и вскоре, в очередь с женой, Альфонс начал появляться в качестве эффектно одетого и ловкого наездника. В руках — подобающий случаю скипетр-хлыст, похлопывающий по рейтузам и гамашам.

Ни одно торжество в театре, на бегах, в обществе не могло считаться полным, если наряду с другими принцами не присутствовал Принц: так гласила острота. В то

время, как большинство человечества влачилось во прахе, светская чета неслась на коне по гладкой дорожке, не зная другой заботы, как только угадывать быстро и без заминки последнее настроение данного общественного слоя.

Из Бенкена, бывшего адъютантом некоего высочества, Евгения извлекала вернейшие выгоды. Альфонс являлся сумеречным фоном для дам высшего круга и подстерегал их тайные настроения, которые, в качестве приличествующих светской женщине, передавал на другой день своей жене. Там, где встречался модный свет, спешили они на зов сенсаций. Она — к чаю, он — к бильярду. Оба — образцы моды, реклама для своих портных. Изюм дня в день, в одно и то же время.

Так в течение ряда лет безмятежно шла жизнь, при наличии взаимного уважения. Благодаря косметическим средствам они не замечали друг в друге наружных перемен. Лица застыли масками; впечатления не меняли их. Лишь взаимное понимание вызывало временами улыбку или черту обиженной серьезности. Как граммофонные пластинки жужжали беседы. Редко звучала первоклассная ария, чаще шипели банальные мелодии. Порою иголка царапала по срабатанному воску. Принцы обладали достаточным слухом для того, чтобы, заметив хрипение, откашляться и переменить пластинку, выбрать менее избитый мотив. В остальном достигнуто было по всей линии полное равновесие. Подобно тому, как стол и хозяйство рассчитаны были до пфеннига, и в повседневных радостях принимали они душою участие ровно постольку, поскольку это казалось нужным. Оба боготворили жизнь и пытались продлить земное существование путем строгого контроля душевных переживаний.

Они достигли такой степени приспособленности, что смех за столом согласовался с блеском серебра и хрустальной посуды, градус дурного настроения не шел в раз-

рез с стилем мебели — для того, чтобы избежать излишней траты энергии на установление равновесия между внутренним и внешним миром. Подобно ящерицам скользили они из тепла в холод, и в пылу сенсаций пребывали несгораемыми как саламандры. Но если температура их бытия отличалась приятной умеренностью, то была тема, от которой им становилось теплее: Париж. Оба еще не видели этого города, но все, что было у них на устах, шло оттуда. Дважды в год для госпожи Принтц — моды из Парижа, оттуда же духи, мыло и пудра. Сотни секретных средств, потребных для их туалета. Оттуда шла роскошь гастрономии, но оттуда же и картины, единственно стоившие слов и восторженного разглядывания. Там создались высокие произведения Бальзака, Флобера и Мопассана, так же как и предпочитаемые прочим романы Тэнсо, Жип, Прево. У парикмахера, в ресторане, в художественных и антикварных магазинах разговор шел о Париже. Обиходнейшим словом в их жизни было это слово, как грим у актера, и им были известны все ателье великих портных и модисток на улицах и площадях боготворимого города. Они чаще произносили слова «улица Риволи» и «Вандомская площадь», чем площадь Одеона и улица Людовика.

Они подвергли обсуждению вопрос, не представится ли для них возможным краткое пребывание в столице мира. Но тысячи смутных представлений дали столь фантастическую сумму, что они, считаясь со средствами, раз навсегда отказались от воплощения своей мечты. Тем чаще они пускали в ход отель Ритц или Мерис, а также Вуазэн, Пэйяр, Ларю или Дюран-Рюэль и Войар, и стали выписывать «*Mercure de France*» и «*Gazette du bon ton*».

Прибытие книжек этого последнего обозрения означало особенный праздник у Принтцев. Уже надпись на обложке «*Art, modes et frivolités*» опьяняла их. Слово

«*frivolité*», к которому они были причастны, мгновенно поднимало их над мещанской атмосферой, временами назойливо напиравшей на них из соседских дверей, и делало их независимыми от всяческих дрязг. Пробежав глазами сообщения знаменитых фирм Шерью, Дусэ, Пакэн, Пуарэ, Рэдфэрн и Ворт, сотрудничавших в этом издании, они смаковали объявления великих косметиков и ювелиров.

Они информировались относительно театральных вкусов, что делать и как вести себя по отношению к другим за столом, в вагоне, на охоте, на лошади и в постели, чтобы удовлетворять требованиям строгих редакторов; досконально изучали «капризы белья», тайны поясов, вуалей и муфт. Чемоданы и саквояжи они называли, согласно инструкции, *trunks* и *bags*; они постигли искусство кроить безупречные ливреи; они знали, что слуга их, будь у них слуга, был бы образцовым.

Прежде всего, однако, научились они быть на высоте при пользовании талисманами. Будь это символ, смелый и непонятный, в роде слона из малахита, оникса или ляпислазури с спиритуалистическим девизом на часовой цепочке, или фетиш-ребус из рубиновой пыли, лебедь на счастье или алгебраический иероглиф. Но и в каждом углу гостиной должен был сверкать этакий маленький кабалистический зверинец, дабы знали, что хозяин имеет дело с силами повыше, чем дружище-портной или перчаточник.

Особенностям характера вышестоящих друзей и их высокаторжественным дням вели они запись. Покупали на рынке дюжину яблок по десяти пфеннигов штука и, обернув ватой, посылали в корзинке высокопоставленным покровителям с карточкой: господин и госпожа Альфонс-Александр Принтц просят не отказать принять свежие, присланные им из Тироля фрукты. Они находили это столь естественным. Крезы из среды их знакомых благодарили

их в свою очередь великолепными фазанами, ликерами, посудой; они знали, что при обмене душевными и духовными ценностями друзья расходовали безусловно больше, чем они сами.

Однажды, в майский день, когда Альфонс Принтц, в цвете и силе своих тридцати восьми лет, возвратился с утренней прогулки верхом на «Парии» фон-Бенкена, «rudement beau», как сам он выражался о себе в такие мгновения, жена протрубила ему навстречу, что друзья их, Фейзенберги, приглашают ее на четырнадцать дней с собою в Париж.

Как ни сильно было в муже сожаление, что приглашение не касается также и его, он порадовался неожиданному блеску, зная, что восторженные рассказы жены, когда она вернется, гарантируют и ему не мало сенсаций. И вот у обоих супругов, как от бокала шампанского, началось опьянение, о котором они знали, что оно будет охватывать их все сильнее и сильнее в ближайшие недели, во время всяческих приготовлений и обстоятельных сборов. Разумеется, они ни единого человека не пропускали без того, чтобы с торжеством не сообщить новость: госпожа Принтц едет в Париж!

Отовсюду насобирали они бесчисленные сведения. Портниха, белошвейка и парикмахер вынуждены были проявить предел работоспособности для того, чтобы за недорогую цену дать путешественнице возможность с честью продемонстрировать в Париже их умение.

Когда Евгения вместе с друзьями вошла в вагон экспресса, и Альфонс, прощаясь, рыцарски поцеловал ей руку, внезапно подлинное волнение обнаружилось у обоих. Они знали: в эти две недели ей предстоит приобрести мощные и решающие резервы светского знания, а затем, на основании добытого ею с трудом опыта, им придется поставить высшую ставку.

Но превыше всего другого волновало обоих представление о летней шляпе, которую должна была купить Евгения в Париже за сто франков, те самые, что вместе с рассчитанными наперед карманными деньгами вручил ей Альфонс. Они знали, шляпа эта более, чем самые блестящие сообщения о пережитых неожиданностях и событиях, будет свидетельствовать о признанном принтцевском вкусе и должна будет доказать непреложность и превосходство этого вкуса завистливому и враждебно настроенному миру.

В Страсбурге, где была остановка, почувствовала госпожа Принтц как будто первое веяние французского духа. На вздымавшиеся из глубины мешанско-немецкой угловатости германски-экстатические красы собора она не обратила внимания и пришла прежде всего в восторг от одного ресторана, носившего французское наименование, в котором ели по-французски. Там уже были длинные белые хлеба, о которых рассказывали ей все побывавшие во Франции. Посетители сидели на длинных скамьях вдоль стены, рядом, а не на стульях вокруг столов, по-немецки. Кушанье подано было в темных глиняных кастрюлях: куропатки, отменно завернутые в виноградные листья. И пили при этом белый го-сотерн. С бьющимся сердцем отважилась, наконец, Евгения обратиться к официанту по-французски, и что же: он бегом стал отвечать. Взоры, исполненные горячей благодарности, бросала она ему.

Когда снова уселись в вагон, мелькнули Нанси, Шалон, Шато-Тьери; когда, наконец, небо озарилось блеском огней мирового города, восторг в груди госпожи Принтц, накипаая, дошел до предела. Покидая купе, она сознавала только одно — что на перроне стояли сплошь французы, и потом, в сладостном беспамятстве, окончательно утратила контроль над собою.

Когда на другое утро она подошла к окну, кругом, куда ни бросить взор, был Париж. Женщины, перебегавшие площадь, сплошь *femmes du monde, femmes entretenues* или *filles soumises*. *Cabots* и *voyous* чередовались с *employés* и *hommes d'affaires*, а между ними шныряли *gamins*. В дверях же толпились столь знакомые *mendiants*.

Когда, очарованная, она обернулась к комнате, она поняла, что каждый предмет в ее руках, все, чего бы ни коснулось ее воображение, требует французского наименования. Приготовившись омочить лицо в умывальнике, она с чувством уважения признала жидкость за *eau froide*, выпила с несравненным наслаждением *chocolat* и съела при этом *oeuf à la coque*. Когда в салоне она встретилась с четою друзей, для нее, казалось, наступил день второго пришествия.

А на улице, совершенно даром, в ее распоряжении были все те понятия, которые прежде могла она приобрести лишь по уплате пошлины и с большими трудностями. Сейчас же слева находилась *Rue de la Paix*, и куда ни обращала она взор, всюду приветствовала страстно-обожаемое, в лице Пино, Пакэна и Тиффани. Тротуар, на который она ступала, воздух, которым дышала, казались ей не просто приятными, а ценными и редкостными. Грязь, которую счищали с мостовой резиновыми щетками — какой-то особенной влагой.

Когда затем предстали перед нею въявь великие памятники — церковь *Notre Dame*, площадь Согласия, Тюильрийский сад и Лувр, — и она остановилась перед Сеною, знакомою ей, с ее островками и мостами, по тысячам любовных историй из книг Домьера и Гаварни, она готова была выпить всю эту массу освещенной лучами солнца воды, чтобы увидеть на дне безжизненные тела многочисленных нежных героинь — тех, что, вкусив полную чашу

галантных любовных удовольствий, обрели здесь единственно-подобную могилу.

Перейдя Мост Искусств, мимо Одеона, добежали они до Люксембурга и потом, минуя Сэн-Сюльпис и Сэн-Жерменский бульвар, достигли Елисейских полей.

Здесь опустилась Евгения, вместе с другими, на скамью и от глубины души пожала руку госпоже Фейзенберг. Даже черты лица ее, неизменно окаменевшие за долгие годы, пришли в движение. На ряду с пятнами грима расцвел на щеках подлинный румянец, а завитые щипцами волосы у висков распустились локонами, слегка пропитались человеческим потом.

Целая неделя понадобилась ей, чтобы среди захватившего дух очарования обрести самое себя и собственное суждение, которое дало бы ей знание того, что до сих пор она видела, пробовала, обоняла.

В один дождливый день, который провела она в отеле за чтением, раскрылись страницы красочной книги мира, сказочный город предстал в более простом виде и, наконец, обрисовался в немногих ясных линиях. Метафизическая масса начала оформляться в земном аспекте; звуки, цвета и ароматы стали явственно музыкальными.

Тогда на смену безудержному ребяческому удовольствию, согревавшему каждый нерв ее, пришло напоминание о долге, настоятельно взывавшее из глаз супруга в день отбытия с вокзала. Еще ничего не было сделано для будущего. Если бы ей пришлось уехать сейчас же обратно, то шаткими показаниями можно было бы заполнить дома беглую беседу, но нельзя было бы убедить людей и повлиять на них ликующими и уничтожающими истинами. Могучим броском двинулась она навстречу познанию тех вещей, которые доселе были для нее непобедимы, и если даже то или другое явление заставляло ее беспомощно отступить — великолепный экземпляр сере-

бристой лисицы, одиноко сверкающий в витрине смарагд, величиною в орех, мастерство Гитри или Режан, — то в общем она все же сохраняла власть над собой и готовность основательно изучить все, чем был велик единственный город и его обитатели.

Сначала она установила, что взаимоотношения полов здесь, в противоположность Германии, отличаются, повидимому, непринужденностью, а нередко как будто и вовсе обнажены. В парках и общественных местах сидели хорошо одетые женщины, расстегивавшие тут же, на скамьях, платье и кормившие детей. Также она увидела, что женщине принадлежит инициатива в отношениях. С мужеством и выдержкою она, раз приступив к поцелую, уже не дает смутить себя случайному прохожему. Все роды любви нашла Евгения узаконенными, благодаря чему труд парижанки, как равной по происхождению, поставлен вровень с трудом мужчины и сопутствует ему. Мужское начало не является здесь, как на родине, единственно вызывающим и захватывающим — в качестве солдат, политических деятелей и людей со значением, — но повсюду наряду с ним выступает боевое женское начало, заявляя себя в окраске, в выставленной напоказ до икры ноге, в крайнем бесстыдстве, всегда остающемся женственным.

Также и в размалеванной красоте кокеток оценила она ту высокую степень великолепного доверия, которое повсюду должна бы иметь женщина к своему естественному инстинкту самоукрашения: в их прическах, доведенных до африканского неистовства, и в трескучем обилии взрывов их темперамента, которые блестяще соперничали с позами мужчин и их парадною походкою.

Мужчин она распознала тем легче, что они, обычно разделяя общество женщины, более связаны с нею. От мужчины не исходило то внезапное отчуждение, которое так часто ощущала она в отношении немцев и которое

ее смущало. Мужчина был товарищем, делившим с женщиною жизнь и не создававшим себе заслонов в виде идей и категорических императивов, под прикрытием которых он при случае исчезает в качестве масона и клубмена. При помощи эротических чар его мгновенно можно было призвать к порядку и к делу, и гораздо чаще чары эти исходили от пикантного своеобразия костюма, или от наготы.

Наряд парижанки постигла Евгения до последних тонкостей. Если дома она по журналам схватила основную линию, то теперь проникла в последние детали покроя нижних юбок и белья, усвоила волшебство всех ухищрений, складок, линий и послушной воле гибкости, переняла у мидинеток их замысловатейшие движения. Теперь, в момент отхода ко сну, перед ресницами ее всплывали удивительные повороты опускающейся ноги, вытянутого вперед колена, плеча, и шекотали ее с ног до головы. На основании лучшего чем прежде критерия видела она, как неправильно сидели, здоровались, брались за вещи госпожа Цукшвердт и ее превосходительство фон-Шальтиц; как наивен был их судорожный флирт, язык их взоров. Со смутным чувством стыда призналась она и сама себе в том, что вплоть до тридцать пятого года жизни покоряла Бенкена и Альфонса-Александра при помощи самых нехитрых приемов. Когда общество одевалось в отеле к вечернему столу, она стояла в темной комнате и сквозь прозрачные занавеси подглядывала, торжествуя, неопишемые тайны прекрасных, полуобнаженных женщин в их освещенных комнатах.

Почувствовав себя хорошо подготовленной, она осторожно начала переносить свой опыт в область практики. Влача за собою великолепный шлейф, спустилась она однажды утром по главной лестнице отеля и внизу, под перекрестным огнем взоров напыщенной публики, отва-

жила на смелый жест: для того, чтобы застегнуть перчатку со множеством пуговиц, она, оттянув и плотно прижав к телу верхнюю часть руки, а нижнюю, от локтя, выставив вперед почти под прямым углом, торжественно и непринужденно закрепила в петлях одну пуговицу за другою. Она заметила наступившую одобрительную тишину. В другой раз, придя в ресторан, она взялась за тонкую кожу перчатки с самого края и, одним движением стянув ее до самой кисти, словно змеиную кожу, обнаружила вдруг белую руку, так что все общество испытало эффект полнейшего и крайне смелого оголения.

За пять дней до отъезда со стихийною силою пробила из области подсознания энергично подавляемая мысль о шляпе, которую нужно купить. Но еще раз удалось ей оттеснить эту мысль и не дать ей завладеть собою. В полной мере сознавая, как много зависит для мужа и для нее от этой покупки, — ибо Париж, со всем тем, что дал ей в эти небесные дни кошелек ее друзей, исчезнет, но останется на многие месяцы шляпа, в качестве единственно-зримого трофея этой высокой эпохи, — хотела она купить шляпу так, как достается решительная победа — Наполеону на полях сражений, женщинам в спальнях — внезапно, и почерпая залог высшего успеха в высоком наитии.

Поэтому чем более приближалась она, вооружившись точным знанием, ко всем предметам расточительно предлагаемой здесь роскоши, чем более рассматривала их и подвергала их своему суждению — тем более она отказывалась от мелких соображений относительно шляпы, являвшейся кругом нее в сотне тысяч неподдающихся описанию экземпляров, и ждала не столько мистического катаклизма, сколько внешнего события, которое с чисто

потусторонней силою молниеносно пригвоздило бы ее к единственно возможному экземпляру.

В то же время она успокаивала супруга, уже несколько раз спрашивавшего ее, и Бенкена, тоже интересовавшегося шляпою, — успокаивала эффектными подробностями мужского туалета, которые она подсмотрела у прибывших с последним пароходом из Англии джентльменов.

«Ботинки», писала она, «и у мужчины все еще служат показателем его значения в обществе. Высшим требованием остается, чтобы их с первого взгляда можно было отличить от тех массовых фабрикатов, которые дают и рядовому человеку возможность выступать в лакированных ботинках. Я рекомендовала бы гамаше beige или белые, всяческого фасона, до обеда, но безусловно необходимо, когда часы пробьют два, менять цветной ботинок на черный шевроный лакированный». Или: «Предоставь другим, когда их приглашают на охоту, разрушать красочное очарование леса черным костюмом. Но и красный цвет — shocking и существует теперь только в альбомах Crafty. Мыслимы только каштановый, бутылочно-зеленый или bleu royal foncé. Но все это при белых брюках и блестящей (не матовой!) шляпе». Эти письма она посылала «с доставкой нарочным, не ночью». Известие «папиросы курят без золотых мундштуков» она телеграфировала Бенкену.

Если она и сопровождала госпожу Фейзенберг при ее закупках, которые по мере приближения срока отъезда становились все более и более бурными, если присутствовала при примерке платьев и мантий, покроем которых она примечала, и всяких других мелочей туалета, то к мастеру она до сих пор не сделала шагу, ни разу не окинула взглядом витрину. Ибо слишком ясно знала она, еще со времени посещения Луврского музея, как быстро слепнет

глаз перед блестящим выбором и как тупо воспринимает шедевры усталое чувство.

После того пережила она еще праздник в Версали, где народ, уверенный в своем воспитании, с развязным достоинством заполнял королевские парки, пережила посещение художественных аукционов, на которых она из уст знатоков узнала, что Матисс-гвоздь, гвоздь ближайшего будущего, пережила вечер и начало ночи в одном из танцевальных зал Монмартра. Но здесь, как и раньше в театре, повелительная мысль, как кошмар, приковывала ее к шляпе, что бы она ни делала, куда бы ни взглянула. Вымученными были все измышления мозга, все слова и взоры, и лишь слабо удавалось ей проектировать самое себя во вне. К тому же бился пульс, словно она проглотила яд, который, напряженно воздействуя изнутри, насильно влек ее к своим целям.

Решив в конце концов, что от навязчивой идеи не ускользнуть, попыталась она сосредоточить всю силу своего суждения на «шляпе», но в итоге недостаточного знакомства с предметом и краткости срока для более полного его познания, раскрылась перед ней мгновенно такая бездна, что от желания сосредоточиться она перешла опять к надежде на чудесное и абсолютное.

Целый час, в то время как веселье вокруг нарастало и человеческое тонуло в потоках шампанского, она погружалась в опьянение мистической настроенности, более глубокое, чем опьянение потевшего возле нее, возбужденного музыкою мяса. К входной двери, белой с золотом, мечтательно приковался взор. Только этот один вход и существовал в ее мире. Если она и не знала, в каком образе предстанет сверхчувственное, сужденное ей, то оттуда безусловно должно оно было появиться.

В эту беспутную ночь впервые вернулись чувства, владевшие ею в критические периоды детства и девиче-

ства. В последний раз, — в вечер перед тем днем, когда должна была быть ее свадьба, и когда она, отдавшись мыслям о пресуществлении и воплощении, легла на свою узкую девическую постель для потустороннейшего из снов.

Позади цыгана в красном, прижавшего скрипку к подбородку, внезапно образовалось в двери черное отверстие. Показалось Евгению, что оттуда повеяло ароматическим ветром, и человек во фраке, овеванный непостижимым, предстал в дверях.

Но и все пьяные от вина лица вместе с ее лицом мгновенно повернулись к пришельцу. Беззвучным и ровным отливом замерла болтовня, и лишь одно слово по-военному коротко прорезало тишину: Вандербильт!

Молодой, высокий красавец, просиявший словно драгоценный портрет в раме, небрежно опустил на стул против Евгения и не двигался, устало посматривая. Она же до последнего атома потрясена была уверенностью: благо ее жизни и в частности благо шляпы заключены каким-то образом в этом властителе мира. Первый, исполненный экстаза взгляд ее пламенно обратился к напыщенному пришельцу, — взгляд, который и кастрата подвинул бы к нападению на женщину.

Вандербильт, искося поглядывая, ощупывал ее глазами, и постепенно его истощенная фантазия зажглась от ее неземного жара. Он вынул щегольский бумажник и, похотливо скосившись на Евгению, с кончика лакированного башмака швырнул ассигнацию негру, заканчивавшему по середине залы пьяный танец. Негр поймал ее на лету с благодарными поклонами, вывихнувшись по направлению к бросившему.

Евгения признала в ассигнации бумажку сто долларового достоинства, и голубое небо разом воссияло над ее миром; всяческое соприкосновение с земным исключает

лось, пока здесь светловолосый американец. Он был, раз он действительно явился, не случайным, а безусловным и естественным распорядителем всего человеческого. Перед его взором преданно и молитвенно затуманились ее глаза. Чем длительнее действовали на нее излучения всемогущего человека, тем полнее предавала она в руки его дух свой, как золотую пену своих устремлений, поверх которой плыла, как символ, шляпа.

Вернувшись в отель, она сочла естественным, что по уходе друзей встретила его в темном коридоре перед своею дверью; увидела, как он привлек ее к себе и воспользовался ею как ценным удовольствием, корректно и без лишних слов. От этой ночи, как мечтательное воспоминание, осталось ей только его картавое «all right» в решительный момент.

А на другой день и в самом деле последовал тот апофеоз, на который она твердо надеялась. Одетый в неопикуемый утренний костюм пригласил ее набоб на утреннюю прогулку, и под руку с Вандербильтом прошла она через Rue de la Paix прямою ко всемирно знаменитому ателье Камилла Рожера.

Там стояла уже — святыня — в одиночестве, за хрустальной витриною шляпа, не дававшая места колебаниям и выбору: светлая флорентинка, плоская, без каких-либо украшений кроме ячменных колосьев и коричневой ленты.

Что бы ни принесла в дальнейшем жизнь — как человек Евгения получила внезапно завершение. Единжды действительность совпала с ее высшею мечтою о счастье, и воспоминания о чистейшем созвучии нельзя было у нее отнять.

Эту уверенность Евгения энергично противопоставила вопросу, что скажет муж по поводу шляпы, и эта уверенность придала ей стойкости вплоть до того мига, когда на

обратном пути в Аугсбурге, в шесть часов утра, запах родного города почти ворвался в ее купэ.

Вечер и ночь провела она сидя, выпрямившись на подушках, по возможности избегая соприкосновений и сотрясений тела, чтобы не расстроить парижской прически под новой шляпой. В самый момент прибытия хотела она подействовать на мужа и победить его первым впечатлением. А искусно взбитая прическа должна была во всех частностях послужить для нее впредь образцом.

Еще раз видение минувших дней оживает перед нею в образах, звуках и ароматах. Она снова обоняет угар ночного зала, плавающего в облаках табачного дыма, слышит носовой припев негра:

Pour t'avoir à moi,
Si tu veux, o mon âme,
Je deviendrais infâme
Pour un baiser de toi.

и видит, как с кончика лакированного ботинка швыряет он великолепным движением ассигнацию, — тут поезд подъезжает к дебаркадеру главного вокзала, и, прежде чем вагон в последний раз сотрясается, узнала она в облаках дыма на перроне почти близнецов по фигурам — Альфонса-Александра и Бенкена.

Но тут перед лицом непосредственно ожидаемой двойной развязки, у Евгении, высунувшейся из окна, прерывается дыхание, останавливаются сердце и пульс. Она повисла в пустоте, и нет больше Вандербильта. Потом она замечает, что муж взором хватается ее, пробует, крепко держит и — движением, сотрясающим ее до мозга костей, — отряхает от себя. Бенкен как будто криво усмехнулся, сквозь слезы думает она. Истерзанная, обездушенная, она разом вышвыривается из мира. В словах не было больше нужды, и она почти забыла поздоро-

ваться с мужчинами. От Альфонса к ней молниеносно блеснуло решение: шляпа — ноль, страшилище, хлам и ни в какой мере не идет ей. Она сама и превозносившееся ею в письмах пребывание в Париже были уничтожающе осуждены.

Из чувства деликатности избегали в дальнейшем упоминаний о шляпе. Но все, что она сообщала о Париже, принималось сдержанно и с насмешливым спокойствием, словно вкусу ее более ни в чем не доверяли. Когда она увидела, как мало впечатления производят самые соблазнительные рассказы ее переживаний, она стала прибегать к все более и более фантастическим и неправдоподобным сообщениям в страстной надежде, что когда-нибудь описание виденных ею чудес вырвет у мужчин одобрение.

Но надежда ее осталась тщетной. Более того, — когда она заводила разговор о своем путешествии, ее старались отклонить от темы, как от не вполне удобной, и давали понять, чтобы она не принимала к сердцу упущенного случая.

Бенкен, казалось ей, пересаливал в своем покровительственном тоне до нелепости, ибо не имел личных поводов к такому тону. Как некогда муж подражал ему в костюме, так теперь подражал он Альфонсу-Александру в области духовной, а потому мало-по-малу сделался ей безразличным и в конце концов потерял всякую цену. Но несомненное превосходство мужа задело ее гораздо глубже, чем она считала возможным. Когда оскорбленное самолюбие затихло, в самой глубине ее души все же осталась рана. Она не могла забыть, как с дрожью ожидала его решения, как все живое в ней страстно зависело от его приговора.

В отношении шляпы, сознавала она, проклятие его мало значило, но в отношении ее чувства к нему — все. После случившегося выяснилось, что она любит этого

человека больше, чем сама она подозревала в повседневной сутолоке вплоть до тридцать шестого года жизни.

Чем больше росла в ней уверенность, тем лучше сознавала она последнюю возможность своей жизни — наивно попытаться овладеть существом мужа. Вместе с тем, однако, она чувствовала всю чудовищную, в общественном смысле, нелепость этой любви и в глубине своего воспитанного сознания стыдилась ее.

И не знала, как намекнуть ему, без того, чтобы неизбежно не рассердить Альфонса. Робко подражала она его безупречным жестам и находила мучительной и роковой мысль о вульгарных изъяснениях в любви, лицом к лицу с такой выдержкой. Не могла же она отвечать на это сознательно-носимое светское достоинство чувством, которое каждая девица питает к избранному ею пролетарию. Но вскоре страсть так возросла, что она искала только средств объяснить своему мужу, оставаясь в пределах хорошего тона, как безмерно, превыше всего она его любит. Таким образом, чтобы ему не было нужды чувствовать себя из-за этого неловко — в общественном смысле.

Теперь она не питала доверия к внезапным решениям и мистическому инстинкту. Слишком печальный опыт приобрела она этим путем при покупке шляпы. И чувствовала: на это раз на карту поставлено нечто большее. Напрягая разум, старалась она проникнуть в суть предмета, без предвзятости испытывала степень вероятности тех или иных душевных переживаний супруга, не обманывалась относительно природы и не подменяла ничего по существу. Она была перед ним как писатель-художник, смиренно и не отступая от действительности создающий своего героя из его сути, с тем, чтобы правильный ход действия и развязка вытекали из самой природы.

Когда атмосфера ее рока обстала ее в полной прозрачности, лежала она однажды после праздничного, блестяще удавшегося ужина в его постели, слегка опьяненная, так что он мог не стыдиться своих чувств. И внезапно нашел он свою жену, которой обладал так часто, обворожительной, блеск ее глаз и новый огонь привлекли его.

Он склонился к ней, и ему показалось, что тайна обволакивает заманчивую плоть. Знание чего-то драгоценного облекает ее и делает ее исключительной. Казалось, от нее исходит экзотический аромат, освежающий его и ударяющий ему в голову. Никого другого не предпочел бы он в эти миги.

Еще ближе склонился он и аромат еще необыкновеннее почувствовал. Теперь он явственно ощутил в ней незнакомку и еще что-то нетронутое, мучительно требовавшее сладострастного угадания.

А она расточала среди поцелуев смешки и словечки, из которых он ничего не мог понять, которые еще более затуманивали его. В огоньках ее взоров, в коротких репликах дурманил его Париж, тот, который и в самом деле познала она — до того мгновения, когда шляпа стала ее всеподавляющей страстью.

Когда он в порыве близости заключил ее в объятия и слова стали как дыхание, она вдруг спросила его с новым жаром, повысившим его ожидания до крайних пределов: кто, по его мнению, указал ей на эту шляпу как на лучшую в Париже? И когда у него оборвалось дыхание и взор экзотически замер, она вздохнула, и в глазах затрепетало: Вандербильт.

После того, болтая, рассказывала она ему, всецело захваченному, о королевской уверенности американца, не допускавшей колебаний, и видела, как хорошо он ее понимает. Теперь он сидел приподнявшись в постели, раз-

другой взглянул уже, под болтовню ее, на шляпу, покоившуюся на туалетном столике, вскочил наконец с подушек, когда она заговорила, что давно мечтала о простых ячменных колосьях и ленте, подошел в рубашке к столу и сказал: «Может быть!» И потом добавил: «Конечно. Грубейшая штука!»

И вернулся с гарнированной соломой к постели, насадил шляпу жене на голову, когда она стала поправлять на затылке светлые волосы, крепко поцеловал ее в лоб и вдохновенно прошептал: «Она божественна!» На другое утро за завтраком она говорила уже о Вильяме Гаустоне как о ближайшем друге, вызывая восторг супруга душевною близостью с миллиардером. Ей пришлось изображать его со всех сторон, и каждая запонка в воротнике, каждая складка на нем были исполнены значения. Потом показывать, как он ходил, говорил, держался.

Альфонс изумлялся полнейшей непринужденности своей жены в отношениях с Крезом и понимал, как лестна для него любовь женщины, влиявшей так или иначе на одного из сильных мира. Тут же оценил он сразу ее несравненную роль среди других женщин в городе, которых одно упоминание о Вильяме Гаустоне Вандербильте должно было прижать к стене.

Путешествие, таким образом, привело все-таки к желанной цели. Помимо дьявольски-шикарной шляпы приобрела Евгения известность и значение, которых должно было с избытком хватить на остаток их совместной жизни в лучшем обществе.

Сразу же начал он пускать в свет новость о их могущественном знакомом и с удовлетворением увидел, как деловито все к этому относится.

Резко порвал он несколько знакомств, не подходивших уже к Вандербильту. Прежде всего прекратились отношения с Бенкеном. Он был переведен в строевую часть

и при изменившихся к лучшему обстоятельствах не входил в расчет.

Счастлива была, не утруждая себя, жена. Она держала мужа на прочной привязи и получила возможность любить его с пылкостью своего возраста. Если пытался он чуть-чуть свернуть от нее в сторону, она прибавляла к картине новый, забытый было штрих из области близких отношений с «Вилли».

Скоро Альфонс знал через нее все семейство американца. Дедушку Корнелиуса, дядю Фредерика и тетю Бесс с их собаками и кошками. Ему известна была сказочная доля участия каждого члена семейства в капитале; все родственники, и Гульды и Гилли были словно личные друзья его. Когда умирал кто-либо из высокопоставленного семейства, он и Евгения надевали легкий, нестеснительный траур.

Она не боялась, что слишком скоро увянут их отношения и потухнет пламя нового огня. Ибо возникла уже с некоторых пор между нею и супругом в моменты нежной близости игра вопросов и ответов, сладкою страстью туманившая обоих и доводившая мужа до глухого бешенства, — кончавшегося всякий раз тем, что все с большим и большим уважением к высшим силам он молча припадал к жене.

ПУЛЯРДА

DIE PULARDE



Так бедны были родители Стефании, что этому изумлялись даже жалкие жители глухой, истощенной местности. Так уныло, вдали от соседей, у леса, стоял остов их дома, что у прохожих дыхание спирало от жалости, и они возвращались обратно другим путем.

В таком хлеву, думалось, должны бы жить, по справедливости, лишь свиньи, и если дело обстояло иначе, то это, конечно, ошибка мироздания, прискорбная, но против нее в сущности ничего не поделаешь. Пища людей, законопаченных туда, должна была состоять, казалось, из шелухи и отбросов.

С пятью младшими братьями и сестрами и с родителями делила Стефания по ночам три матраца, шерстяное тряпье и фланелевый хлам — это одежда, капусту — пища. Но все же после зимних холодов появлялось уже в мае солнце, отогревавшее кости и струившее по жилам радость.

Скверно стало в сущности только тогда, когда неожиданно умерла мать и тринадцатилетняя Стефания осталась попечительницей над малолетними. Тут пришлось по целым дням возиться с чужой грязью и убирать ее, поддерживать в лишенном самостоятельности отце рабочее настроение собственной бодростью, которую не каждый раз могла она в себе вызвать, — и тогда приходилось терпеть неуклюжие нежности старика. Так как при изобилии домашней работы она почти не посещала

школы, то многое из того, что не полагалось, она считала дозволенным и, когда подросла, спокойно стала сносить от отцовских приятелей, сбежавшихся к ним, то скотское, что она уже наблюдала в природе, в сараях с мелкими домашними животными возле их домика.

Так, сама не зная через кого и как, попала она из своего первоначального состояния в состояние женщины и от такой перемены в своей жизни не получила никакого впечатления, ни малейшего о ней представления. То, что произошло и без стеснений потом повторялось, спустя значительное время, привело лишь к тому, что этой стороне существования стала она придавать не больше значения, чем всякой другой потребности, и в семнадцать лет относилась к жизни с некоторою степенью свободы, позволявшей ей обращать бурно вскипающее чувство на более важные предметы, чем большинство женщин.

Таким образом, когда отец взял новую жену, готовую поддерживать домашнее хозяйство, Стефания покинула семью и, уверенная в своей работоспособности, отправилась в соседнюю деревню, где поступила на службу к мяснику. Аккуратно исполняла она свои обязанности, в число которых с самого начала включила, разумеется, хозяйские ласки, и не сошла бы со скромной дороги, если бы по временам не присваивала из выручки грошей и марок, на которые покупала себе наряды и украшения. Мясник, хотя и чувствовал себя, благодаря любовной связи, ее сообщником, испугался все же, что кражи со временем участятся и что вообще она стеснит его, и подал через жену заявление на свою недостаточно честную служанку.

Тут арестованная пережила нечто с такой ясностью, что и в дальнейшем сохранила это в качестве первого в жизни сильного впечатления: где бы она ни являлась на людях, она получала от мужчин столь настойчивые знаки

их растерянности, а потом и безграничного смирения, что победы ярко выраженной по отношению к «стихии мужского» красоты Стефании — захватывали и ее самое и сообщали ей в каждом положении все большую уверенность. Правда, ее присудили, по букве закона, к низшему наказанию — двум месяцам тюрьмы, но взор каждого мужчины, от председателя суда, присяжных и публики до караульного, ее охранявшего, униженно и настойчиво просил ее о прощении и взывал, очарованный: не казни меня, прелестная, за то, что закон глуп.

В камере она имела достаточно времени, чтобы обстоятельно осмыслить свой неожиданный опыт. То, на что она до сих пор не обращала внимания, чем обладала, не ценя, стало раз навсегда драгоценным ее достоянием. Если до сих пор ею владело сознание своей заурядности, то уверенность в своей исключительности развязала все ее силы. Без зеркала, она сверху до низу ознакомилась сама с собою, изучила целое, части и мельчайшие подробности наизусть и к концу тюремного заключения в такой мере оценила свои телесные преимущества, что стала смотреть на день выхода на свободу с чувством жизнерадостного наследника большого состояния, которое человек намерен умно использовать, заменив романтику трезвой жизни романтикой хотя и оплаченной, но всегда готовой к его услугам.

Накануне своего освобождения, вечером, она добросовестно обследовала себя. Еще не раздевшись, поняла она, что сильнее ее очарование, на которое она всегда может рассчитывать, заключается в неполном соответствии пепельно-светлой окраски ее пышных волос с темным цветом ресниц и бровей. Даже тюремная куртка и мешок, обхватывавший ноги, не в силах были скрыть ее фигуры. Когда она сбросила то и другое, у нее на этот раз вырвался крик. В порыве восторга созерцала она

сама себя, пока ей не стало холодно — что и вывело ее из созерцательного состояния.

На следующее утро она разыграла как по нотам свои первые гаммы на нервах жандарма, проводившего ее к вокзалу, и, очутившись на улицах большого города, была уже человеком уверенным в своём даровании.

Она могла бы сразу же начать карьеру, если бы ей не пришло в голову, что нет соответствия между блеском ее красоты и средствами для ее выявления. Она чувствовала, что только в спокойствии хороша она, движение уродует ее облик, а слова пригвозждают к низменному, которого она хотела избежать. Таким образом, она поступила горничною в хороший дом и стала перенимать там приемы обхождения; старалась двигаться как хозяйева и выражать как они свои чувства. Она приобрела запас слов и, в случае чего, могла пустить пыль в глаза. Всякое выражение она прикрашивала, интонацией подчеркивала недвусмысленный намек, научилась одним словом и одним оборотом выдвигать плотское. После любовной связи с хозяйским сыном она, уже более подготовленная, предоставила себя хозяину.

В течение года она так часто меняла приличных господ, что ознакомилась вполне с формами, принятыми в данном классе. Держалась как барышня из хорошего семейства и подобно ей всякий раз жеманностью своих слов отбирала обратно часть того, что предлагала жестами.

В девятнадцать лет она могла уже наняться в княжеский дом горничною; получив назначение быть при молодой княгине, Стефания, благодаря близости к высокородной даме и страстному стремлению познать изъязы ее существования, стала соучастницей тайн красивой и порочной женщины, находившей удовольствие в подготовке молоденькой девушки к любви и в конце концов искренно

к ней привязавшейся. Чуждая физического стыда перед равной ей по красоте сестрою по полу, она не прикрывала своих чувств и помышлений и, возвращаясь с увеселительных вечеров, поверяла насторожившейся девушке свои переживания и свои удачи в обществе.

Стефания узнала от нее внешние приемы, которыми женщина поддерживает себя для мужчины; она познакомилась с редкостною эссенциею, легкими и сильными средствами эротического возбуждения, научилась отличать в одежде изысканное от просто-обыкновенного. Затем княгиня познакомила ее со знаменитыми любовными историями прошедших веков. Она узнала о распутствах Казановы и Мирабо, о признаниях Брантома, Бокаччио, де ла Салля. С широко раскрытыми глазами читала ей вслух госпожа восторги Вальмона и маркизы де Мертейль и потом, наконец, обуреваемая ненасыщающею нежностью, шептала ей на ухо, лежа в постели, о достижениях из собственной любовной хроники.

Но и тому, как обманывают мужа, возлюбленного, как успокаивают их и потом снова разжигают, как ведут к концу одну связь и в то же время издалека завязывают другую, плачут притворными и искренними слезами, смеются на самом деле и в театре, — всему этому научилась Стефания и многому еще, из записных книжек аристократии и придворного календаря.

Пока не стала целиком женщиною, такую, которую светский мужчина с апломбом показывает в обществе. Но для вступления в свет ей необходим был фон. От своей наставницы она знала, что на скачках многое зависит от старта. Ей нужно было, как резвой кобыле, с места пуститься галопом, чтобы, гладко начав, сразу же пойти в голове скачущих. Каждого из посещавших их дом кавалеров, всех этих господ, включая и князя, могла она выбрать себе в качестве первого официального

партнера. Но она ждала того, чей выбор, упав на нее, гарантировал бы ей бурный успех.

Был среди других старый польский магнат, лишившийся обеих ног в итоге галантной жизни и ходивший на костылях. Светское реноме у него было исключительное, суждения его о женщинах почитались неоспоримыми. Но уже давно он довольствовался тем, что платонически высказывался по вопросам, касавшимся охоты на женщин. Даже знатоки прибегали к советам графа Гильчинского, затевая что-либо из ряда выходящее. Для себя самого он, после трагического разрыва с одною великою итальянскою трагическою актрисою, не находил, казалось, женщины. Этот развалившийся волокита должен был создать для нее первую серьезную историю, — так решила Стефания. В интересах ее дела — именно на нем должен быть показан пример. Этот самовлюбленный циник должен был заворковать перед ней кротким голубем, из него должна была быть выкроена пикантная и ужас внушающая реклама.

Словно муху, одним ударом прихлопнула она реликвию, проявив перед ним такую степень любовного очарования, что он, всецело плененный, припомнил весеннюю ночь в Шантильи, домик с зелеными ставнями, и с тех пор весь ушел в восемнадцатое столетие.

Его натиск был решителен, упруго было ее противодействие. Таким способом она держала его при себе, пока он не одурел окончательно и, отдавшись грезам, не стал пить шампанское из ее туфель. Уверенная в победоносном исходе, она довела его до дряблости резиновой подвязки, ежедневно надеваемой. Наконец, стали просить друзья; князь, сама княгиня просили за своего друга. Последняя посоветовала предмету обожания вступить в брак, взять на слом развалину. Стефания упиралась и дулась, пока все не затрубили о скандале. Тогда она, подобно

ангелу, убежденному словами, выступила из темного угла на свет и, лицом к лицу с поклонником, перед свидетелями испросила себе отсрочку — подумать. И в то время как ветхий кавалер наклоняется к ее руке, она внимательно рассматривает *grand seigneur'a* и пытается решить, как его лучше использовать.

Она совершает затем крупнейшей важности шаг, объяснив, что женой его быть не хочет, — это недопустимо, — но хочет быть его признанной любовницей. Тут-то вырвался у света крик восторженного изумления, семейство магната вспыхнуло благодарностью, и в один прием стала она во мнении самых строгих серьезнейшей сенсацией.

На широкую ногу использовала она богатство графа. У ней был дом в городе, а на охотах в загородных виллах была она впереди всех. Единственная женщина среди стрелков, она обладала даром дублета без промаха. Ночью, под прикрытием лестниц и переходов, назначала она изредка свидание какому-либо особенно отважному охотнику, если он привлекал ее тем или другим преимуществом и она, в силу светских правил, считала необходимым выполнить, наконец, свои обязательства по отношению к нему.

Во всех направлениях исколесила она, в сопровождении своего сиятельного покровителя, свет. Всюду подчеркивалась ее роль ухаживающей за больным. Входила ли она, поддерживая его, в столовую в Каннах, Фонтеблэ или Довилле, пододвигала ли ему стул в театральной ложе Фрейденау или Эпсому, повсюду сквозило самопожертвование, и в каждом зрителе возникало чувство дружельюбного участия.

Она стала матерью его ребенка, который был ей к лицу и румянцем и белизной которого она при случае украшлась. Она так низко склонялась над мальчиком,

что копна белокурых волос вот-вот, казалось, изольется в колыбель, а присутствующий при этом спутник начал ощущать тончайшего свойства желание, исходившее от ассоциаций, связанных с этой женщиной.

В дальнейшем сближалась она с тем или другим мужчиной, усвоив себе путем предрасположения и воспитания чисто мужской взгляд — что из любовных связей не следует создавать ничего серьезного. Но и она, на ряду со страстью своего признанного друга, не терпела со стороны партнера чувств, которые грозили бы примитивному благоустройству ее жизни. Дорого стоящим комфортом и во всяком случае удобствами того, кто купил этот комфорт, рисковала она, если бы при всех обстоятельствах гарантировала полнейшее обладание — первый признак оплаты.

Атмосфера любовных интриг служила лишь к тому, чтобы, вызвав тревогу и ревность, обострить чувство истинного обладателя. При этом она сохраняла убеждение, что все ей принадлежавшее стало путем покупки собственностью графа Гильчинского и лично ей уже не принадлежит. В силу унаследованного чувства зависимости она, несмотря на коренную перемену во внешнем положении, оставалась в глубине души почти крепостною. А в духовном отношении — безусловно. Ибо хотя, благодаря поклонению графа, она неизменно парила в высотах, рассудок ее беспрестанно прислушивался к настроению хозяина, и ничто в мире не занимало ее, как только знать — в чем внутренняя сущность мужчины высшего света.

Когда мужчины беседовали друг с другом, она сидела в сторонке, поджав ноги, с пылающими глазами и пыталась за словами подслушать что-то безусловное. Когда удавалось, она начинала мурлыкать как кошка; с увлечением прислушивалась к самым ничтожным разговорам,

если подмечала при этом в голосах ту страстную серьезность, которая была для нее решающей.

Сама она с самого начала не выражала своих мыслей при помощи слов, а старалась лишь, чтобы слова не затемняли ее основной цели, — изъяснять сущность этой цели она предоставляла тому внушению, которое исходило непосредственно от нее. И сама пропускала мимо ушей целые периоды из того, что говорилось ей, с тем, чтобы постигнуть глубоко заложенное под ними бессознательное чувство.

Таким образом она стала вровень со всеми теми мужчинами, которые обращались порой к ней с полными значения словами, делали, так сказать, над нею стойку издалека и против ветра, но которых она распознавала в самых их потаенных глубинах, как бы ни мнили они себя укрытыми за словесными тирадами.

Когда время от времени происходили стычки с расходившимся, привязанным к ней старцем, она тоже отвечала на его упреки не логически, а так, что какой-то подлинно бушевавший в ней хаос оставлял далеко за собою перспективу катастрофы, которою грозил граф, и этот последний, затаив смущение, рад был, если, благодаря его просьбам о помиловании, светопредставление откладывалось еще на некоторое время.

Так царила она над окружающими; слуги, наемники графа и поклонники ее исполняли всякое ее желание. Чуждая других страстей, наслаждалась она от полноты души изысканнейшим ничегонеделанием и непрестанным уходом за своим телом, и при этом представляла себе свою юность, когда от холода и голода и каторжной работы кожа часто портилась, жиру на костях не было.

Теперь упруго вздымались грудь и живот, пластически округлялись нежные бедра и икры, а спина напрягалась столь пышными подъемами, что даже равнодушные к кра-

соте деревенские девушки, выполнявшие в комнатах черную работу, иной раз оглядывались на нее.

Если в промежутках между едою она не играла, как почти/всегда, в карты с графом и его друзьями, представлялось смотреть, как она часами полирует ногти или расчесывает волосы, электрические разряды которых давали понятие о запасах природных сил, еще заключенных в этой женщине.

В конце концов в изобилии своем, уподобилась она той рубенсовской даме, у которой плоть буграми трепещет, не сдерживаемая одеянием, и которая, в то время как полнота повсюду пробивается, одной рукою еще придерживает пышную грудь, а другою прикрывает середину тела наскоро схваченным мехом.

И что пуговицы ее лифа порою оставались растегнутыми — это было не случайностью, а каким-то трогательным символом.

* * *

Как-то, первого января, у ней появилась другая горничная, у графа — новый камердинер. Уволенные четыре года несли службу, не вызывая неудовольствия, но в конце концов из спален стали пропадать ценные предметы, и однажды граф отпустил обоих. Новая горничная, молодая и хорошенькая, обладала хорошими манерами и знала свое дело; лакей, рослый рыжеватый блондин, был скромен и выгодно отличался от своего предшественника, болтовня которого часто сердила графа. Быстро разгадала София настоящее желание госпожи — видеть мир, дома и вне дома, приуроченным к ее требованиям, и что бы ни делала, выходило так, что без одобрения повелительницы ни ее собственные действия, ни чьи-либо другие — даже самого господина бога — не могли считаться совершенными. Когда по утрам она отворяла окно в спальне и солнце поверх

столика, уставленного цветами и серебром, лило свет на юбки и белье барыни, она вскрикивала, не выражая, впрочем, восторга, и лишь тогда начинала восторженно захлебываться, когда являлась уверенность в одобрении самой барыни, озаренной солнцем. Или когда в новом платье стояла Стефания, собираясь выйти, бурное восхищение Софии прорывалось не прежде, чем госпожа выражала удовлетворенность собою. Также и относительно графа и друзей его Стефания не верила ничего из замеченного ею, кроме какого-либо впечатления, имевшего отношение к повелительнице; какого-либо одного сильного впечатления, которое путем повторных описаний умела София сделать все более и более занимательным.

Стефания нашла девушку приятно и заинтересовалась ее историею. Из нее узнала она о событиях, составившем и ее собственное давнее прошлое. Только кражи не было, а просто наиболее заметную роль в жизни Софии сыграла любовь к одному человеку; о ней она, прибегая к намекам, рассказала много банального, но такого, что, при ее предрасположении к сентиментальности, выросло в маленькую катастрофу. В конце исповеди она заплакала, и Стефания еще раз уверилась в превосходстве своего легкого характера, которому была обязана счастьем и довольством. Ей даже доставляло удовольствие подстрекать взволнованную Софию к все более бурным проявлениям чувства, и каждый раз она получала все больше и больше удовольствия.

Но неожиданно София перестала поддаваться и прекратила свои излияния по поводу исчезнувшего друга; ясно было, что она полна чем-то новым, более живым. Достаточно было Стефании последить за ее взглядами, чтобы понять, что восторги девушки относятся к Венгеру, камердинеру. Она приготовилась уже к обычному и незатяжному концу, но тут обнаружилось, что молодой

человек проявляет недоступность, а девушка огорчение. Хотя самолюбие Софии и не позволяло ей признаться в неудаче, уже по ее дурному настроению разгадала госпожа положение дела. Это тем более заинтересовало ее, что она не могла не признать, что малютка обворожительна, может быть слишком уж миловидна и жеманна, но в общем на высоте любых требований. Молодой человек обладал хорошей внешностью, но чего же надо было ему большего здесь, за городом, где нет других развлечений, чем это от души предлагаемое блаженство?

Глядя на него внимательнее, Стефания находила, что он обладает манерами, поднимающими его над уровнем среды. Он бесшумно ходил на цыпочках, и все в нем было на чеку. В обществе прислуги он был замкнут, а перед господами деятельно-насторожен. В глазах его, когда он прислушивался к разговорам, был огонь, и если к нему обращались, он как бы пробуждался от грез. Бросалось в глаза, что одет он со вкусом и что мог бы с достоинством держаться и в лучших условиях. Но изумительнее всего был такт, который проявлял он, укладывавая своего хозяина в постель.

Стефания представляла себе другую судьбу для этого лакея, такую, которая подняла бы его над его кругом, если бы у него только нашлось достаточно честолюбия поставить себе высокую цель. Припоминая свою собственную судьбу, чувствовала она благожелательность и симпатию к этому человеку.

Однажды вечером ей пришло в голову, что если бы он принял решение во что бы то ни стало пробиться вперед, то, чтобы одним взмахом попасть в другую обстановку, он, действуя смело, должен был бы поставить ее в основу своих расчетов.

Ибо этот человек обладал мужским опытом и знал людей и ее настолько, чтобы многое в ней подозревать

и еще большего ожидать от нее. Несомненно, он, в силу простонародного чутья, смотрел на нее, связанную со стариком и не имеющую настоящих любовников, как на готовую к утехам любви. Вообразить только, как, сам с собою наедине, выражается он о такой как она женщине и о ее обстановке.

При всяком приказании, которое граф отдавал Венгеру, при всяком полученном им поручении Стефания ловила себя на столь искреннем товарищеском чувстве, что ничто, его касавшееся, не было уже ей безразличным. Она думала о его происхождении и смотрела на его руки, чтобы угадать, что он делал раньше, установить, не родился ли он в несколько лучшей среде, чем она. Так как ей было хорошо, то она и ему желала хорошего, — ведь и он явно тяготился незаслуженно-низким социальным положением и хотел от него отделаться. Всякая похвала по его адресу льстила ей, и она поворачивалась к нему, чтобы он мог в ее глазах увидеть одобрение.

Но слуга оставался по отношению к ней сдержанным, и в этом она видела умысел, ибо под маскою подозревала страсть, стремившуюся к обладанию ею, Стефанией, не как красивою женщиной, но как наиболее соблазнительною, в данных условиях, добычею; видела умысел и потому еще, что не могла понять, как это ни один нерв в нем не затронут ею. Пробовала она соблазнить его на прикосновение мимолетное, но рассчитанное, сначала чуть-чуть заметно, а потом, когда он ее не понял, заглядывая ему в упор в глаза. А в конце концов — путем откровенной близости, оправданием которой служило его присутствие в спальне и гардеробной.

Когда и этим путем не оказалось возможным тронуть неприступного, а вечером, к вящему ее смущению, София разразилась жалобами на предмет своего бурно возрастающего обожания, впервые за долгий период времени

увидела себя Стефания в положении, непохожем на прежние, быстро и безболезненно проходившие. Просыпаясь по утрам, она не прозревала уже со спокойной уверенностью тех радостей на протяжении дня, вплоть до яркого вечера, которым обязана была блеском глаз и крепкими нервами. Что-то было в ней, от чего кровь разливалась, горячим фонтаном бросалась в голову, так что приходилось краснеть перед людьми. Из состояния покоя низринута она была в беспокойство, причинявшее боль. Она не могла постигнуть того, что к этому человеку неприменимы законы, регулировавшие доселе ее жизнь.

Несмотря на обилие упреков, которыми она себя осыпала, влечение ее выросло в потребность, прорвавшуюся внезапно сквозь все поры. Она должна была дышать тем же воздухом, что этот человек, жить его жизнью и его мыслями. Под всяким предлогом оставалась она в гардеробной, через открытые двери которой видела, как он работал в графской спальне. Там орудовал он, словно никто на него не смотрит, — не обращал внимания и на Софию, часто пробегавшую мимо.

Один раз, когда Стефания вытянулась далеко вперед, чтобы отыскать его глазами — в тот момент его было не видно — он оказался на шаг от нее в дверях и, окинув ее огромным взором, лишил ее сознания. Когда она пришла в себя, он опять возился с какой-то работой.

Душными стали ночи, подушки и простыни швыряла от себя Стефания. Роковое чувствовала она в себе и распалялась гневом. Она боялась стихийного, того, что безжалостно, наподобие нищеты и горя, потрясет ее вихрями, перед которыми человек бессилен и на которые сосед только пожимает плечами и говорит: Такова жизнь!

Но она знала, что жизнь не должна быть такою. Разве и в прошедшие годы не подступало к ней часто и настойчиво искушение — перейти границы, броситься

навстречу хаосу, и разве холодное самообладание не говорило ей: ты по доброй воле и по совести продала свою судьбу чуждой силе?

Но теперь, вопреки окрику и предостережению, человек этот оставался ей дорог, его присутствие в комнате опьяняло. Чем более подходила к ее обстановке законченность светского мужского общества, тем сильнее рвалась она к этому, к тому, в ком почуяла, за его рабским подражанием другим, дикую непосредственность, изначальную силу. Уже вперяла она порою открыто взор в него и на виду у всех захватывала его.

Ночью она выходила на балкон и всматривалась в парк, в ту сторону, где, знала она, спит он в людском флигеле. Она высмеивала себя, постигала нелепость своего положения и, непрестанно вздыхая, сладострастно отдавалась муке.

Однажды поздно вечером она набросила на себя накидку и платок и, словно лунатик, перешла вдоль кустов, по освещенным луною дорожкам, по звенящему песку к его окну. Там стояла она, и, казалось, кто-то приподнял ее кверху и она видит, как он лежит в постели. В продолжение всего июля совершала она эти волшебные прогулки, обретая в мечтах тихое блаженство.

Но после того как ей не под силу стало выносить дальше своей тайны, она вбежала однажды в его комнату, когда он, отправляясь в город, только что захлопнул за собою дверь, бросилась лицом навзничь на его неприбранную постель и до краев, как баллон, наполнила себя теплыми испарениями его потного тела.

Еще увидела она, как в сказке, губную гармонику на комодке, открытки с пышно оголенными женщинами и генералами на конях, утыканные кругом зеркала, и убе-

жала, захватив его теплое трико, которое с тех пор не снимая носила на голом теле.

* * *

Не гордость побуждала ее скрывать от победителя его победу, удерживаться от того, чтобы молниеносно броситься в его объятия. Влечению противодействовал страх, отдавшись, быть навсегда низвергнутой с высоты комфорта в бездонную пропасть. Ибо чем ближе подступала она к предмету своего поклонения, дав волю инстинктам, тем явственнее чуяла за безобидной внешностью бандита и вымогателя.

После того, как София совершенно неожиданно стала другою и ревность уже несколько недель под ряд терзала Стефанию, она взобралась однажды ночью по лестнице к его окну и увидела у него сквозь закрытые ставни девушку и все те сумасшедшие объятия, о которых мечтала для себя. Когда, наконец, насытившаяся пара вытянулась бок-о-бок в постели, парень неожиданно произнес ее имя и стал рассказывать хихикающей Софии о ее тайне, как об обстоятельстве давно известном и не раз служившем предметом насмешки. И, снова начиная заигрывать с девчонкой, хвалится он, что поймает еще трусливо-трепыхающуюся пулярду и выпустит у нее сало, так что жирная стерва оглохнет и ослепнет.

Раззадоривая его, женщина превозносит прелести своей госпожи, описывая их на основании близкого знакомства, и в заключение, под грязную болтовню парня, раскрывает в сочных выражениях интимнейшие тайны Стефании, на что оболтус мычит: «тем лучше», и вдруг начинает барабанить марш на оголенном теле Софии, обращенном к зрительнице в комбинации причудливых разрезов.

Стефании захотелось умереть от стыда, стереть с лица земли этого человека, которого она любила и ненавидела. В его взорах и взорах девушки читала она теперь открытое глумление, под которым она корчилась, чувствуя, как трещат уже его челюсти, разжевывающие ее, и как начался, за ее счет, процесс дымного пищеварения.

Только куском мяса была она, которое он съест и извергнет из себя. И все же яростно хотелось — быть закушенной, разжеванной и протолкнутой сквозь глубочайшие его недра. От ужаса сладострастно напрягалось ее тело в то время, как сидела она наедине с графом, и друг, испытывая мирное блаженство, все настоятельнее уговаривал ее, ради счастья ребенка, согласиться наконец, после долгого периода испытания, на брак.

Невзирая на постоянно повторяемые клятвы исполнить желание графа, она чувствовала себя слишком уж глубоко отравленную и не видела другого спасения от муки, как сплести все счастье свое и все унижение в одно безмерное объятие, а потом отдаться на милость и немилость своего нового повелителя.

В тот же вечер она решила было на это, как на самоубийство, когда встретила вдруг в библиотеке с доктором Ранком, который, как нередко и в прежние годы, оказался опять их гостем, занятым самим собою. Время от времени попадал он в этот дом из другого мира; его связывало с графом взаимное уважение, проверенное во время совместного путешествия по черному матерiku.

Он подошел к ней вплотную и сказал, что только непосредственной близостью опасности объясняются его слова. Ему неизвестно, конечно, какого она о нем мнения, в какой мере считает его уполномоченным давать ей советы, но, без сомнения, в данный момент он единственный в доме, не будучи лично заинтересован в событиях, может найти разумное решение.

Он сделал вид, что не замечает ее деланного изумления, взял ее за руки, при чем она покраснела до кончиков пальцев, и сказал, что женщины всегда доверяли ему, так что он знает о них по опыту больше, чем другие. Он не может представить себе положения, в котором бы он, если речь идет о женщине, не разобрался; он является не только лицом неизменно предостерегающим, но чаще и дающим направление. Но только он всегда настаивал на том, что нужно глядеть в лицо опасности и, критически относясь к делу, не допускал, чтобы в основание расчета была положена хоть одна неверная цифра, могущая впоследствии оказаться роковою.

И когда она все-таки хотела уйти, он сказал, что ко вмешательству в ее личные дела побуждает его не то, что она любит плебея и собирается теперь действовать под внушением страсти, а опасение, что она в растерянности переоценивает статьи расхода и считает миллионами душевные затраты в то время, как возможно, пожалуй, обойтись и меньшим, или что она подводит быть может неверный баланс. Пусть она представит, что он на самом деле, как и прежде, только друг, непосредственно не заинтересованный и молчаливый. И так как он угадал самое главное, то искренность не угрожает ей в дальнейшем никакой опасностью. И пусть она не думает, что его прежнее знакомство с графом хотя бы в малой степени настраивает его в пользу последнего и против нее: как в своих книгах, которых она не знает, так и в жизни он подчиняется одному лишь непреодолимому влечению — устанавливать справедливость и равновесие в вещах, исходя из них самих.

Покоряясь больше его нервной непреклонности, чем словам, опустилась она на стул в оконной нише и продолжала прислушиваться к его шопоту:

— Вас не должны пугать самые резкие слова. Я проделываю за вас вашу исповедь, к которой вы неспособны. Несколько лет под ряд наблюдаю я вас и знаю ваши знания, меру вашего воображения и вашей нравственности. Если бы с детских лет, путем развития ваших духовных сил на основе благоприятных и обильных данных, представили вам возможность без напряжения использовать во всех направлениях заложенные в вас данные, если бы более светлые условия юности способствовали тому, чтобы вы, как и всякая другая девушка, могли естественно и постепенно распределять свои влечения, если бы вы, по обстоятельствам вашей жизни, не были неизменно предметом обладания, ни разу не испытав еще действительного обладания, то не уплотнилась бы так составляющая вас сущность и не скопилась бы в ней такая колоссальная взрывчатая сила, ныне стремящаяся разрядиться.

Один только вопрос занимает меня: если можно еще заблаговременно открыть все те клапаны, которые всю жизнь были у вас закрыты, то назовете вы другом или врагом того, кто попытается иными естественными путями отвести бушующий в вас внутренний огонь? Ибо со всею величайшей, доступной человеку серьезностью я уверяю вас, такая предварительная попытка необходима в отношении создания божия, как и произведения искусства, потому что иначе вашей страсти не доставало бы того внешнего и конечного оправдания, какого требует, в силу законов пропорции, ее несообразность.

Но и люди с ограниченным кругозором спросили бы по поводу вашего случая, почему никто из близких не попытался отвлечь вас, — пользуясь наивным выражением, — в то время как была надежда подействовать на ваше чувство внезапным разрядом духовного с таким же успехом, как и элементарно-чувственного. Ведь так же, как вы не любили до сих пор, вы не в меньшей

мере и грубо-необразованы. В принципе ваша духовная девственность способна безусловно так же окраситься кровью, как и чувственная. Одним словом, я льщу себя надеждой свратить вас не менее сладостно иными мужскими силами, не мужицкими.

Но в действительности уже поздно. Слишком много вы вкусили от него и слишком многое нашли великолепным. Поэтому, чтобы лучше понять друг друга: верхом достижения было бы — и я сделаю все для этого, — если бы теперь, когда вы в тридцать лет начали, наконец, распускаться, другая половина вашего существа не осталась бы на том низком уровне, на котором пребывало доньше все существо. Всеми силами должны вы попытаться, — и я помогу вам, — чтобы одновременно с тем, как парень этот вспашет ваше тело, кончилась бы и ваша духовная ограниченность. Ибо иначе над вами нависнет опасность, что только другой какой-нибудь принесет с собою это полное освобождение; но тогда то, чего вы хотите теперь и что в праве существовать самодовлеюще, как завершение, станет мучительным для вас эпизодом.

Итак, любите вашего избранника, но не так, чтобы в час единокжды данного вам расцвета отдать ему лишь половину своих устремлений. Не удержать хочу я вас, а направить через мгновенное состояние к высшим вашим возможностям.

Она не вполне понимала это, как и сам он до конца не уяснял себе. Но он чуял в ней стихийное, исключительное, в чем хотел принять участие, и знал по опыту, что как ни неумна красивая женщина, она всегда поддается обаянию всецело-духовного.

И он видел, как Стефания, все еще не пробуждаясь от затуманенности, протягивала щупальцы, которыми не могла крепко ухватиться, но которые удерживали ее от стремительного падения. При помощи двух — трех тяже-

ловесных слов удалось ему еще больше закрепить ее положение, но тут вошел граф, и все отправились обедать.

За столом Ранк искрился вдохновением. Он отважился при упоминании об «Education sentimentale» — вещи, с которой благодаря его частым настояниям, познакомилась и она, и граф, — заговорить о Розанетте, той, что наряду с светскими дамами представлена в романе в качестве женщины, лишенной общественной опоры. Он поставил ей в упрек, что она, подобно другим представительницам своего положения большою страстью. Ему хотелось, чтобы она вспылала безудержным чувством к Фредерику Моро, и чтобы таким образом, образ ее возвысился над обыкновенными искательницами приключений. Ибо галантная особа эта трогательна только чувством неизбежного долга, которому суждено когда-нибудь посрамить все расчеты. Как в мужчине — мыслителе, поэте, святом, — должно в каждой внешне одаренной женщине прорваться единокжды ураганом любви героическое, простертая над ее существованием тяжкая духота должна разразиться в конце концов грозой.

Это сказал он по-французски, в то время как тот самый бритый лакей в шикарном ливрее прислуживал, и, несмотря на повторные односложные реплики Стефании на немецком языке, разговор продолжался, благодаря упорству Ранка и графа, на незнакомом слуге наречии, так что он впервые оказался вычеркнутым из действительности.

Настойчиво доказывал еще Ранк, что низвержение Розанетты из высоких сравнительно пределов ее чувств к Фредерику в область в конце концов совершенно незначительного объясняется тем, что ум ее, как и способность к любви, мало развит. Она обрела заслуженный конец, ибо не сделала ни одной попытки подняться из ничтожества.

Когда поздно вечером расстались, он заметил в Стефании расслабленную неуверенность, залог того, что в эту ночь, по крайней мере, она неспособна предпринять что-либо решительное. Также обнаружил он досаду и смущение и в Венгере, бросавшем пламенные взгляды на госпожу, ему ничем не отвечавшую.

На другое утро, снова в библиотеке, хотела она излить на Ранка раздражение, потребовать, чтобы он не вмешивался в ее дела. Но сразу же принуждена была поддаться исходившему от него влиянию. Подчиняясь возбужденному духовному самолюбию, двигалась она не так, как хотела, бормотала то, чего не думала. Уже формировал он ее воображение по-своему.

Действительности он не касался сегодня. Вместе с нею обходил ряды книжных шкафов, снимал с полок один том за другим и поведывал ей из этих томов ту или другую чужую судьбу. Из литератур различных народов выступили ярко освещенные портреты, мужчины и женщины, все в сочетаниях божественной любви, но связанные друг с другом далеко за пределами чувственного. Не это делало их единственными и влекло Стефанию к подражанию, но та своеобразная форма, в которую они облекали страсть. В этих существах могла почерпнуть удовлетворение потребность в избранном, высшем слое, таком, который гордится не богатством, не общественным положением, а сохранением своеобразия личности. Все они, одержимые страстью к пополнению себя в другом поле, отдаваясь, лишь в большей степени обретали свою сущность, и вместо того, чтобы угаснуть в любви, восстанавливали себя и других для еще более живого духовного восприятия.

Ранк, не умолкая, навевал на нее своею болтовней, как волшебник, сны и очарования, в которые погружилась она, словно в созерцание театральных пьес и трагедий,

пока не прервался театр вместе с его болтовней и вид Венгера не бросил ее в другие вихри.

На протяжении дважды двадцатичетырех часов разгорелась скрытая в начале борьба двух мужчин, перекинулась на все помещения замка и на нервы его обитателей. Ибо теперь и державшийся на заднем плане слуга перешел в наступление и противился Ранку, гнавшему его отовсюду, где он попадался ему на глаза поблизости от Стефании. Но днем, в узком дверном проходе большой гостиной он только в последний момент успел помешать их объятию и по выражениям лиц обоих, застигнутых врасплох, догадался о назначенном позже свидании. Он знал, что Стефания, только что взглянувшая ему прямо в глаза, приняла на эту ночь непоколебимое решение пойти к тому, другому.

Когда перед отходом ко сну совершали они последний круг по саду, он прошел с нею мимо людского флигеля и произнес, указывая на завешанное окно слуги: «Маленький рай!» Но потом стал заклинать ее, раз уж суждено тому быть, ради ее собственного блага, в последний, двенадцатый час поднять этого человека до проявления его собственного я. Ибо против голого трафарета глухо протестовала уж и ее совесть.

И словно в опьянении принялся он описывать бездной разверзшуюся брачную ночь Матильды де-ля-Моль и Жюльена Сореля из Стендалева романа, их душевные провалы на ряду с физическими высотами. Как за чувственностью, готовой смешаться воедино, стонало другое, неоднородное, как под бременем вожделения клочкотала классовая ненависть. Как, извиваясь от страсти, скрежетала высокородная девица под жалким секретарем своего отца, против воли и неуклюже склонявшимся над ней, так что оба явили собою священный в веках пример. Глубже чем до сих пор запутывал он и Стефанию в сеть

духовных потребностей, оправдывающих истязание пола, и с жаром, хватавшим ее за сердце, настаивал на том, что в качестве фона для предстоящего единственного и несравненного — должны быть лестница, кинжал и празднично озаренные небеса.

Когда, наконец, она высвободилась из его цепкого захвата, она была для того, что предстояло, скорее мертвою, чем живою.

Сидя в постели, ждала она, с открытой дверью. За окном пошел дождь, крупными, редкими каплями. Теперь она знала — если отступится возлюбленный, то тот, в своем духовном подъеме, все же как-нибудь устроит это — с помпой и огнями. Целый час ни звука не раздавалось в доме. Потом слышит она, как вдалеке хлопнула дверь. Потом стало тихо.

Хлопнула дверь. Тишина. Вот будто шаркают чьи-то шаги. Тишина. Словно что-то трется об стену. И потом — негромкий треск и падение! Дверь хлопнула!

Дыхание застыло у нее в груди. Она соскальзывает с постели к дверям и слушает биение своего сердца. Отворяет и останавливается, потрясенная, у порога дома: на широкой площадке перед лестницей прислонилось к террасе что-то черное. Она сбегает вниз и дотрагивается; это тело мужчины. Ее поднимают, поворачивают вокруг оси и кладут на пол меж пяти высоких дверей. Тотчас же в окнах террасы всходит над ней и над Ранком невероятная луна.

* * *

На другое утро она даже не спросила, куда так неожиданно исчезли навсегда из дому Венгер и София. Ей казалось это удачно придуманным финалом искусственно-искусного попури, и она была уверена, что должно даже существовать какое-нибудь иностранное слово для точ-

ного обозначения такого рода вещей. Она знала также, теперь придется ей дуться на людях, а наедине с Ранком быть выше этого и принимать дело так, как он инсценировал его на основании полусоглашения с нею. И готова была, когда он с нею заговорит, от себя дать наименование нарастающим действиям пьесы: «Задущенный повеса», «Обманутый обманщик» и, наконец, «Кто в накладе, тому не до смеха».

Но вместе с тем она задышалась от тоски и бешенства. Были мгновения, когда она готова была убить или умереть. Но внесенная Ранком в дом атмосфера исключала активность, и всякий порыв был раз навсегда позорно окарикатурен.

Так тянула она и занималась пустяками в решительные моменты, вместо того, чтобы пробить себе путь к действию; наконец, спустя долгий промежуток времени, упущена была и последняя возможность, всякие побуждения в ней умолкли. Она грезилась о чем-то неопределенном и постепенно склонилась к сумеречному довольству; вышла замуж за графа, расширила свои пределы и, кроме Берлина и округа Оппельн, приобрела оседлость и в Швеции.

Когда много месяцев спустя Ранк снова увидел ее, он нашел ее более округлой, и кожа ее была еще ослепительней. Что очень красило ее.

— Повидимому, дорогая, вы нашли, наконец, свое место. К вам шло не восхождение, не взлет по вертикали. Безмятежный покой и неизменность к лицу вам. И не с взмывающим к небу жаворонком мог бы сравнить вас будущий ваш певец; ваш образ...

— Пулярда, — сказала Стефания.

ПОЗИНСКИЙ

POSINSKY

«Целые народы занимаются тем, что лежат на песке и дуют в тростник».

Готфрид Бени.

Так как со дня смерти графини Больц Позинский одинок в мире, то добросовестному летописцу остается рассказать о нем кое что, дабы на примере этого выдающегося экземпляра дать позднейшим поколениям представление о сущности тех, кто остался дома во время мировой войны.

При жизни свсей весьма состоятельной возлюбленной он на ее средства переправил провианту в общую квартиру в таком изобилии, что продовольственные стеснения, на четвертом году войны чрезвычайно обострившиеся, не вынуждали его к опрометчивым поступкам, к отчаянному маневрированию. Наоборот, целые недели покачивался он в мелком прудовом фарватере затихших теперь комнат, с приятным сознанием, что вот наконец-то он может не считаться с высокорожденной в конце концов девицей, которою владел он, но перед которою не решался обнаружить кое-каких примитивных своих черт. Теперь же, свободный от уз, он с комфортом располагал свои конечности на всевозможных, приспособленных для лежания, мебельных аксессуарах и стыдился, что у него только пара рук и пара ног. Развязно и беспрепятственно простирался инстинкт во вне, и мысли, словно жабы, изливали слюнь на все, что только можно.

Сначала он не хотел ничего определенного. Страстно сознавал он только одно опять: что он — Позинский, и при помощи заключенного внутри себя двигателя приводил окружающую атмосферу в желаемую степень колебания. Не было, по существу, никакой области, где бы он не мог счастливо достигнуть намеченной цели. Подушки и меха Ульрики мало-по-малу привели его к наиболее важному сознанию: мир в тылу обезмужчинел, и утомительная мозговая борьба сведена почти на нет.

Если бы, таким образом, оказались исчерпанными запасы, наполнявшие его кухню и погреб, было бы пустячным делом выйти из положения и взлететь на место, обеспечивающее во всех отношениях дальнейшую жизнь. Этот период пребывания в четырех стенах Позинский хотел использовать для того, чтобы укрепить свое тело для предстоящих, может быть, трудов, подвести весь наличный запас пищевого материала к сосудам с максимумом целесообразности.

Ибо он не скрывал от себя: при всей личной скромности, почтенная покойница двояким образом истощала его ниву. Во-первых потому, что при скудном, в общем, питании она все-таки уменьшала его порцию и, кроме того, потому еще, что в целях представительства ему приходилось тратить на различные поступки и решения безусловно больше внутренней энергии, чем потребовалось бы без Ульрики. Ради себя самого, — он чувствовал это восторженно-трогательно, — он не стал бы производить душевных и духовных затрат. За время войны он приобрел способность обходиться с собой без стеснения.

И вот — способность на ближайшее время оказаться сытым. Но лицом к лицу с ним был, вообще говоря, голодный мир. Конечно, у мира этого все еще были и дру-

гие потребности, но, в то время как раньше отношения к людям были многосторонни и щекотливы, теперь он мог рассчитывать, что мыслью о наличии неутоленного аппетита у такого-то лица и исчерпывается главная его суть; и не зачем было прибегать к дальнейшим расчетам, основанным уже на индивидуальности данного человека. Несомненно, война смирив в людях массу излишней мятежной, отняв у рядовых организмов силу, уходившую на духовные фокусы и потребности нравственного характера, и обратив ее на удовлетворение основных нужд. С радостным чувством сознавал Позинский, что уже давно больше никто не требует от него той внутренней подвижности, которую проявлял он, в сущности, всегда неохотно.

В конце концов ничто не казалось ему столь простым, как принцип мироздания: все снова и снова рождаются без причины люди, которые, будучи в главном похожи друг на друга как яйца, проводят в неподдающихся изменению условиях свое короткое существование; было бы наиболее разумно для них радостно посвятить это существование брэнному телу. Но благодаря слишком большой свободе и независимости от требований целого люди со средствами приходят в мирные эпохи прежде всего к тому, что вместе с чрезмерным накоплением знаний расширяют круг своих забот. Просветительная ярость создает вокруг себя, как водится, больше пустоты, чем изобилия, и в то время как фантазия, вследствие разоблачения приятных обманов, беднеет, утверждение так называемых ценностей делает жизнь людей еще более печальной. Путем воспитания, соображал он, природный дар забавлять себя на земле отнимается искусственно у человека и освобождает место обязанностям. Из воли и представления он обращается в конце концов в функцию, мыслящую в плоскости целей и способную на смерть

запахаться в бешеной скачке, вместо того, чтобы притти к концу аллюром, соответствующим темпераменту.

И собственная его возлюбленная — как хватала она через край, себе во вред, в отношениях к нему! Разве не могла она предотвратить свое сгорание или оттянуть свой конец, подвергнув себя действию менее плавающего огня, — разве не могла любить его в границах естественного, без душевных эксцессов, действенно и тактически-рассчитанно? Что побуждало ее очертя голову затеять с ним идиллию, в то время как она оставила ему по завещанию сумму, обеспечивающую спокойную жизнь, по крайней мере, на два года? Да и после двух лет, дал бы бог жизни.

Часто пытался он ее любовному бешенству, угару бурных переживаний, противопоставить свои доводы, бережно предотвращая судорожные схватки, но ей до тла хотелось сжечь себя, ни на минуту не откладывая. Не то, что она горела для него пламенем страсти, но что на его глазах она истощала и уничтожала себя физически, казалось глупым Позинскому. Он был уверен, что можно любить и при надлежащем учете всех обстоятельств, можно если не прибавлять жиру, то все же и не терять его.

Целебно-регулирующее средство таким образом и прежде действовало в нем, но — он заметил — не столь методически, чтобы можно было быть вполне довольным. И его самого, вместе с этою утонченною девицею, запутало чрезмерное обилие всяческих поступков и ненужных переживаний, так что соответствующие ей склонности жизненные правила не могли утвердиться с должной основательностью. Теперь же, при наличии продовольствия, полного бумажника и предоставленного ему, в виду его полного истощения, длительного отпуска, перед ним раскрывались первые в его жизни вакации, и со всем жаром серьезности намеревался он создать между собою

и миром тот минимум трений, который неизменно приводил его в восторг, вновь и вновь, всякий раз, когда он смотрел на стрелку аптекарских весов: две чашки, в силу этого минимума, повисали в эфире с легкостью и приятностью, составлявшими предмет его вожделений.

Воздух был, по времени года, мягок, и не приходилось выдерживать с ним неудобной борьбы. Шелковая сорочка и кальсоны как нельзя лучше обеспечивали доступ воздуха к телу Позинского и выделение испарины. У него составилось самое хорошее представление о своих порках, о печени и ее деятельности, процесс дыхания был легок и нежен. Здесь не требовалось улучшений; оставалось поддерживать хорошее самочувствие тела при помощи хорошо рассчитанных и приготовленных кушаний. Тут для ачала требовалось распределить и правильно использовать изобильные запасы. Продолжительность войны считал он, самое большее, еще в два года, и на каждый из семисот тридцати дней определил соответствующую порцию своих ста двадцати фунтов риса, ста фунтов сахару, пятидесяти двух фунтов какао, десяти кило чаю, восьмидесяти фунтов заделанного в каменные горшки масла и многого другого. При таких обстоятельствах он ни в чем не должен был терпеть недостатка до осени тысяча девятьсот девятнадцатого года, предполагая, конечно, что огонь не уничтожит запасов и что ему ни в каком случае не придется делиться с кем бы то ни было. Быстро выработал он в себе умение верить в совершенство и начал питаться так, что трудно было превзойти его в изготовлении блюд.

Горькие и настойчивые жалобы на продовольственное положение, раздававшиеся отовсюду, воспринимал он таким образом, как и всю вообще войну, больше в качестве панорамы, и они не стоили уже и грамма участия. Страстный интерес, проявляемый всеми к предметам питания,

служил ему только поводом к тому, чтобы, опираясь на свои резервы, с боязливой щепетильностью относиться к вопросу их наиболее целесообразного использования и проникнуть в тайны материалов, предназначенных для питания человечества. Он узнал, что питательность ржаной муки равна шестидесяти единицам, сахара — сорока, и что питательность сыра, оцениваемая в сто шестьдесят девять единиц, превосходит таковую же — мяса, оцениваемую в пятьдесят; он стал заботиться о том, чтобы вводить в свое меню по меньшей мере сто двадцать пять частей белков при четырехстах частях углеводов. К трапезам относился он с усердием жреца и вкушал их, смакуя, в костюме Адама на софе, чтобы насытить и глаз зрелищем работы брюшных мускулов. Проглотив последний кусок, направлялся он особенной расслабленной походкой к весам и оставался там, пока деление шкалы не показывало прибавки в весе.

Но при всем своем участии к процессам обмена веществ он не забывал, что они должны приковывать его внимание лишь для того, чтобы телесная мощь раз навсегда прочно установила в нем то душевное состояние, в котором инстинкт его давно уже чувствовал верх земного счастья и мысль о котором хотел он теперь вбить в свое сознание как самодовлеющую. В качестве физической предпосылки безусловно удачного выполнения своих планов установил он вес тела нетто в восемьдесят кило и, не стремясь сразу к окончательной цели, довольствовался, при теперешнем весе в сто пятьдесят два фунта, неторопливым приближением к промежуточным пределам.

Тогда же заметил он, что действие, будь оно даже самым незначительным, мгновенно уменьшает прочную округлость физического благосостояния. Пусть даже мускульные движения сами по себе полезны. Но, благодаря духовному напряжению, необходимому для того,

чтобы привести колесики мозга в движение, соответствующее задуманной цели, польза идет более чем на смарку. Ясно было без дальнейших объяснений: затрата мозговой энергии для какого-либо движения — хотя бы взять в руки что-нибудь — редко компенсируется результатом самого поступка. Предположим: он держит что-нибудь в руках, чего до сих пор в руках не было. Но польза, полученная им от нового предмета, мала и часто ничтожна в сравнении с молекулярным расстройством, которое произошло в организме. Когда, например, на его лицо садится муха, а сам он лежит в растяжку, отдавшись блаженно, растительно, духу целого и слившись с ним воедино, то ему, чтобы прогнать насекомое, приходится сначала в корне нарушить внутренний контакт, а потом провести понятие «муха» через все клетки своего тела, прежде чем вообще округлится в нем тот логический комплекс, в результате которого рука получит приказание ударить по определенному месту. А возможно, что возникнут в последующем еще и другие представления, примыкающие к частному понятию мухи, которые единожды возбужденный мыслительный центр должны сначала с трудом воспринять, а потом забыть опять с некоторым напряжением. И на ряду с этим, следствием поступка явится в лучшем случае раздавленная муха.

В итоге пришел он очень скоро к мысли: человек слишком подвижен, в ущерб себе. Конечно, он должен быть готов к прыжку. Если стоит того, то и до неба. Но непрестанно сновать туда и сюда, из-за ничего — это безрассудно. Сколько можно съэкономить за день на движениях головы, конечностей, на ненужных шагах и не только на этом, но и на нервах, все это контролирующих. Но даже и в случаях, когда движение неизбежно, можно было обойтись половиною обычно применяемых усилий.

На звонок он не отворял больше двери. Ибо чего было бояться? Упустит он, что ли, посольство, предлагающее ему, как Генриху Птицелову, германскую корону? Ждать человека, который принесет ему в дар свое состояние, или письма, содержащего восторженный отзыв о его новой картине? По вечерам брал он то, что за день накопилось перед дверьми, и находил, что подмога, получаемая извне, не стоит даже того, чтобы сделать ради нее несколько шагов. Несомненно, предки его, бедные евреи, работали из рода в род до совершенного изнеможения, раз так сильна была в нем, вне сравнения с другими страстями, жажда покоя, так развита способность наслаждаться в состоянии неподвижности. Лежа посреди комнаты, на ковре, он следил, ухмыляясь в полудремоте за тем, сколько времени требуется лучам солнца, плясавшего на бомбе его живота, чтобы пройти расстояние от пупа до срамного места, ничем не отвлекаясь.

Ни одного примера не мог припомнить он в природе, когда бы при помощи фейерверков и силовых приемов цель достигалась скорее, чем это доступно начальной мощности действующих элементов. Для чего же люди, сверх меры напрягаясь, стремятся к целям, достижения которых не потребует от них ни один разумный человек, обходя в то же время и пренебрегая легко достижимым? Как часто ни манила его вдаль фата-моргана, для него единственно важным в жизни было познать свой долг перед природой для того, чтобы гармонически войти в мировой план. Какая была ему польза верить в то, что благороднее непрестанные творческие усилия, раз он ясно видел, что его природа страстно тяготеет к ничегонеделанию? Если усердие к труду примет он за добродетель, то лень его неизбежно станет пороком. Но какое полное отсутствие самосознания требуется для такого предположения! Раз он сознает в себе решимость есть

непрестанно, то в чем же смысл и выгода считать чревоугодие недостатком человеческим? Разве в конце концов человек не развивается из веры в себя и, значит, не следует ли всячески укреплять эту веру? Если я полагаюсь на присущие мне свойства не отвращаясь от них и питаю их добросовестно, то они должны привести меня к цели, какие бы аттестаты не выдавало им общество по своей произвольной мерке. Разве не казалось иным позорнейшим преступлением то, в чем видели заслугу поколения и эпохи? Разве, держа совесть на одном статическом уровне, не сохранили негры сказочного покоя своего безоблачного эдема на тысячелетия дольше, чем гонящиеся за моральными сенсациями азиаты и европейцы? Не был ли пример грехопадения первым и настоятельнейшим предупреждением — не проявлять любопытства ни к чему, кроме самих себя? Позинский был уверен, что изгнание из рая означало символ кары не за совершенное совокупление, но за ту моральную утонченность, с которою грандиозный естественный акт втянули в мелочную систему человеческих соображений. Там, где задача может быть достигнута с экономией сил, естественным в конце концов путем, не зачем, для сбережения времени, принахиваться к ней логически или этически. Время в плане мирового хозяйства играет самую незначительную роль; для центральной власти не важен лишний миллиард лет.

Так стал он проводить свои дни в широчайшем бездельи. Уже ни малейшим движением не обозначался миг его пробуждения. При первом же случайном проблеске света сквозь закрытые веки он начинал постепенно, отнюдь не путем логического умозаключения, пропускать извне внутрь себя уверенность, что уже утро. Сначала это никак не удавалось. Всякий раз, чуть только он открывал глаза, пошлый разум пробовал сейчас же отра-

портовать: пора подыматься. Но путем усердных усилий, судорожного приглушения этого внутреннего голоса, он постепенно выключил из общей системы разума механизм, и день распускался перед ним в сумеречном свете как растение. Потом он прислушивался еще к последним симптомам усталости и к обозначающемуся уже первому приступу аппетита, и наслаждался своими потребностями и удовлетворением их примитивно и основательно. Он не подавлял самого незначительного плотского побуждения, — напротив, взвинчивал их во всех инстанциях, и в каждой из них воплощался в конце концов естественный трансформизм. Человек при помощи питательных средств не выполняет в сущности ничего кроме элементарных функций, необходимых для устойчиво-хорошего самочувствия; но они же часто поднимают его до степени блаженной затуманенности. Нередко пробуждалась в нем благодарность к Ульрике, доставившей ему средства для такого отношения к жизни и такого самоуслаждения. Что знал он до сих пор о венце творения «человеке»? Он не имел времени заняться им. Даже писание портретов, в котором упражнялся он во время войны, дало ему в отношении ближних, только то, что само по себе, в смысле эстетической гармонии, цены не имело. Не развитие, исходящее от высших устремлений человека, а укрепление физико-химических сил, обуславливающих все чудесные явления, создало в Позинском несравненное чувство абсолютной независимости от так называемой культуры.

Для него стало ясно: одна материя непреходяща и вечна. Ведь никем никогда не доказано, что пропала хотя бы ничтожная ее частица или что к наличной массе прибавилось хоть что-нибудь. Значит, как ценен каждый атом этой от начала данной мировой материи, как свят! И так как опыт подтверждает факт ее непрерывного

преобразования и развития из себя, то к чему же все теории и системы человеческого познания, составлявшие цель жизни всех выдающихся умов и приковывавшие к себе ослепленные народы в то время как все разумные усилия должны бы были быть направлены главным образом в сторону удобрения и поливки наличного, изначального человеческого материала — при помощи всей совокупности годных для этого средств.

Думая об этом, Позинский доходил до белого каления: если взглянуть на дело в общем и целом, то человеческие массы поглощают ежедневно колоссальные количества пищи не ради функциональных отправлений организма, а, главным образом, для того, чтобы восполнять энергию, расходуемую нервами на химеры бессмысленной культуры, и таким образом задерживают естественный прирост.

И притом из истории всех этих культур ясно, что все совершавшееся в их пределах происходило не в силу гениальных прозрений человеческого мозга, а исключительно под влиянием необходимости и банального случая. И Позинский праздновал неистребимость своих составных частей в поистине религиозных формах, и чтит ее глубоко. В чем состояло на протяжении тысячелетий превосходство господствующих классов, как не в том, что, благодаря избранному положению и преимуществам, они оказывались способными поддерживать свою плоть в более цветущем состоянии, чем бедные черти, терпевшие голод и обреченные на быструю гибель, благодаря идеологическим системам и пищевым суррогатам. Чем отличались первое и второе сословия? Сытостью, аббат Сиес! Voila tout! А третье стало сытым в семьсот девяносто первом году.

Теперь наступал век, когда четвертое сословие высвобождалось из туманов мистики и мифологии, в которых держалось оно до сих пор при пустом желудке — в согла-

сии с тонкими расчетами правящих — и присаживалось к столу решительно и непринужденно. И сам он, Позинский, несколько впереди других, с полным сознанием того, что он делает. Чтить свое тело, не допускать дальнейшего его истощения от недостаточного ухода! В этих словах возвещался переворот, более великий и чреватый последствиями, чем во всех высокопарных лозунгах.

И вовсе не было наивною жратвою то, что он торжественно устраивал для себя четыре раза в день. Все его духовные и нравственные потребности сочетались с процессом питания, под влиянием решимости установить за собой уход такой, как у выдающихся современников, и даже лучше. Все поставил он на карту в одной задаче: при посредстве обильнейшей и даже грандиозной кормежки избавиться от худобы и малокровия, уготованных ему поколениями гонимых предков. Победа и поражение зависели от удачи и неудачи этого плана. Иной чести и иного позора не было. То обстоятельство, что, в силу противодействия нынешних внешних условий, требовался при этом особый ум, пренебрежение к установленным карам, только повышало его самосознание и гордость.

Он распорядился отделить у себя в спальне, при помощи брусев и гипса, в расстоянии метра от стены, с полу до потолка, особое помещение, оклеенное извне обоями так же, как и другие три стены, и снабженное незаметною выдвижною дверцою; оно служило потайным шкафом вместимостью свыше двенадцати кубических метров, недоступным народной ярости или любознательности полиции. Там стояли на полках в пакетах, в мешках, в ящиках и в других всевозможных видах круглым числом шестнадцать центнеров будущих составных частей тела его, Позинского. Стоя перед открытым арсеналом, говорил он себе, что из сахара, масла, риса, ветчины и какао в течение двух лет должно десятикратно восстать

его тело. Ибо ни одна крошка, ни одна капелька жиру из шкафа не должна была за этот срок попасть в чужое горло. Блестящая иллюстрация лживости великих духовных принципов! Не «*cogito ergo sum*», а «*bibo et edo, ergo sum*» значило бы это, если бы и без Декарта, Паскаля и Канта простая правдивость в людях не была задана нарочитыми фразами. Но ведь для организма со здоровыми соками не требуется сверхчувственно-трескучих понятий, чтобы всецело проникнуться великолепием земного. Туманные слова только мешают овладеть до конца тем чувственным, что заключено в космосе, и оценить его.

Но Позинский, сопя и насыщаясь, научился этому. За трапезами читал он красочные описания хлебных бунтов, бурных, на километры растянувшихся, картофельных очередей и, уверенный в своем химическом преуспевании, глядя из окна на распределительные лавки района, наслаждался, затруднительным положением соседей. Общее, по всей Европе, вдохновенное голодание казалось ему великолепным приближением к его основным принципам. Наконец-то, повидимому, вместо обожествления метафор, первейшим исповеданием человеческой природы стала повсюду острая физическая нужда. Даже пресса, до того времени пыжившаяся в трескучих фразах свыше всякой меры, принуждена была теперь уделять три четверти своих столбцов вопросам голодного желудка. Важнее «Загадки мировой души» и «Критики откровения» был теперь рецепт изготовления вкусных овощей из картофельной шелухи и сорных трав. Уважение к благородству, образованию, благочестию, даже значение денег и богатства, стушевались перед ценностью наличных жизненных припасов, и все меньше и меньше интересовался познавший себя мир жалкою, более того, — преступною роскошью выдыхающихся духовных потребностей.

Так мало интересовался в конце концов, что Позинский, в тех случаях, когда был сыт совершенно, начинал думать о них довольно благосклонно и приходил к выводу, что кое-что разумное можно все-таки со временем выудить из духовных устремлений. И потом снова вынужден бывал признать, что если бы человек, потя и напрягаясь, и не открыл того или другого, то с течением времени оно объявилось бы и само по себе. Против же любознательности человеческой можно, помимо того, привести и следующий довод: если электричество применимо там-то, а сила пара там-то, и если энергии моторов доступны воздушные пространства — то за каким чортом достижения эти не добыты открывателями и изобретателями на два тысячелетия раньше, если, с другой стороны, вообще эти достижения служат действительно нам во благо?

Что, в конечном счете, он и отрицал.

* * *

Когда он выглядывал из того окна своей жилой комнаты, которое выходило в темный двор, взгляд его упирался, в расстоянии трех метров, в занавеску, раз навсегда опущенную соседкой-квартиранткой, после того как его несколько недостаточно одетая фигура слишком близко подошла однажды к окну. В течение дня, таким образом, для него оставалось тайной то, что она делала. Но когда по вечерам горела лампа, особа эта, незнакомая с оптическими законами, словно в кинематографе, демонстрировала перед ним на полотне свою пластическую мимику, если только у Позинского было настроение сидеть впотьмах и наблюдать. Вначале, занятый упитыванием своего тела, не допускавшим перерывов, он установил только факт ее чрезвычайной молодости, обнаруживае-

мой силуэтом юбки, подол которой едва прикрывал колени. Да и пышная грива вьющихся волос подтверждала, что обитательница квартиры едва только вышла из детского возраста.

Но когда спустя некоторое время накопился в нем запас благополучия и приятной сытости, ему в силу контрапунктического чувства начало доставлять удовольствие сравнивать собственную неподвижность с энергично прыгающей по полотну стройной фигуркой. Растянувшись на поставленной под прямым углом к окну софе, запустив лапы в жировые складки своего тела, воспринимал он быстрые движения миловидной тени на завешенном квадрате, как грозное, в конце концов, и неприятное предостережение. Не его, конечно, нужно было предостерегать от слишком большой подвижности. Наоборот, ему бы следовало утихомирить эту ртуть там, за окном, если бы чужая судьба теперь имела для него хоть какое-нибудь значение.

Поэтому и он, с своей стороны, опустил штору и, если время от времени контур соседки и мелькал еще на двойном транспаранте, Позинский уже не обращал на него внимания, так как неожиданная опасность грозила теперь его жизненным припасам. Однажды ночью он проснулся от шороха в стене. Но слишком надежно, казалось ему, был защищен его мир запорами и замками от всего внешнего, чтобы увидеть в этом что-либо другое, кроме обмана чувств. Наконец, слишком явственно стали обнаруживаться звуки в направлении шкафа, и нельзя было больше откладывать обследование.

Крысы подготовили прорыв в его святая святых, и немалых трудов стоило основательно отпугнуть их. Пришлось ему побороться и с другими вредителями и с химическими процессами, грозившими повлиять на вес продовольствия, пока он получил возможность вернуться к без-

мятежному покою, который лишь много недель спустя был нарушен опять оттуда, со стороны окна.

А за это время был сделан шаг вперед, от ухода за телом изнутри, который должен был повлиять на наружный блеск, к непосредственному воздействию на него извне. Приобретены были в больших количествах мази, мыла, кремы, пасты, масла и туалетные воды и сложены рядом с съестным. И хотя прежде ему чужда была щепетильная чистоплотность по отношению к наружным покровам, поскольку она требовала затрат, теперь она казалась ему безусловно необходимой на ряду с питанием изнутри. Ни одного шанса нельзя было упускать, раз он действительно хотел добиться цели — сопричислиться к касте откормленных.

И не забывая ни на минуту должного соотношения между затраченным трудом и возможными результатами, он холил свою эпидерму. С счастливым чувством наблюдал он, как его поры впадают потоки жира, который, вместе с подводимым через желудок маслом, должен был рациональным и вместе с тем деликатным образом пропитывать его молекулы. Ибо у очага, над которым выставлен был ряд изречений, осуществлялась теперь истинно трансцендентальная гастрономия. А на стене, под стеклом и в рамках, начертано было его рукою:

I. Жизнь во всем. Все живое ест.

II. Обязанности гарантируются государством.

III. Христианство — церковью.

IV. Сила же и здоровье — питанием!

Однажды вечером он готов был разрешиться, в дополнение к этим, пятой сентенцией, когда на занавеси неожиданно возник контур, стремительный — наподобие блаженной памяти сеньора де-ла-Манча, и соорил такую страшную гримасу, что Позинский, затаив дыхание, ждал несколько секунд, что будет дальше, заслоняя рукою

лицо — как бы в защиту от катастрофы. Но ничего не произошло. Последовал только залп отрывистых жестов. Последний из них ошеломляющего свойства: удар мечом со свистом прорезал воздух сверху до низу с силою, достаточною для того, чтобы разрубить быка, от головы до хвоста, на две половины à la Chateaubriand. Но быка не было; вообще ничего такого, к чему бы могла относиться по существу столь колоссальная динамика. Казалось, удар направлен был в пустоту каким-то сумасшедшим.

Позинский привскочил на подушках, словно фанфары прогремели к бою. Месяцы корпел он, устанавливая законы наименьших затрат при наибольшей пользе, — и все это только для того, чтобы на его глазах начал работать такой волшебный фонарь? Пусть на горизонте мелькают зарницы извечной человеческой глупости — он будет улавливать их в телескоп, ради округления своих впечатлений от мира; но в пределах своего дыхания он не потерпит вздора, пятнающего чистые представления, вздора, подробностей которого он еще не уяснил, но которого отвратительная тенденция ему ясна.

Что значит эта карикатура мужчины поблизости от него, жестикулирующая подле молоденькой девушки с энергией, которой хватило бы на всю жизненную карьеру Цезаря или Наполеона? Позинский не мог представить себе замысла, достаточно колоссального для того, чтобы оправдать эффект созерцаемой им картины. Такая ярость ни в коем случае не подходила социалисту. На парламентской трибуне или в народном собрании она подействовала бы катастрофически. Или субъект этот был цареубийцей, и здесь происходили репетиции, подготавливавшие покушение, удар наверняка?

Позинский прильнул носом к стеклу, сгорая желанием пережить с момента зарождения таинственное дело,

затѣваемое там, напротив. Величїе и напряженность жестов служили порукою тому, что в данном случае человек вынашивает в себе план грандиознаго историческаго акта, и зрительно предоставляется возможность, по окончаніи дела вывести, на основаніи опыта, заключеніе о широкой постановке подготовительныхъ действий и ограниченности эффекта. Ибо, затратив и одну десятую долю такихъ душевныхъ силъ, возможно не только теоретически, но и практически уложить на месте повелителя какой угодно державы.

Во всякомъ случае, после того какъ разговоръ шопотомъ в окне напротивъ ничего в дальнѣйшемъ не выяснилъ и сразу же погасъ светъ, Позинскій испыталъ в этотъ вечеръ некоторое недоуменіе и от напряженія слегка вспотѣлъ; засыпая, онъ забылъ даже пососать пралине, лежавшее какъ всегда на ночномъ столике.

На другой день с наступленіемъ сумерекъ былъ онъ опять на посту. Ясно было, игра, начатая съ такими затратами, должна имѣть продолженіе и грандиозный конецъ. Но малютка, какъ видно было по ея контуру, сидѣла долгое время одна на краю постели, неподвижно подперевъ голову руками. Принимая во вниманіе ея ужинъ, несомненно весьма скромный, Позинскій находилъ эту постепенно-немеющую позу вполне уместной и, в концѣ концовъ, такъ увлекся ея рассматриваніемъ, что забылъ о своемъ первоначальномъ намереніи; но неожиданно распахнулась подъ прямымъ угломъ дверь, и на полотнѣ появился вчерашній злоумышленникъ, бешено размахивая шляпой и плащомъ. Тутъ, словно пробудившись отъ глубокаго сна, начала ритмически раскачиваться всемъ туловищемъ и руками, в тактъ ему, и девушка. Зритель, оставаясь при предположеніи, что дело идетъ о планахъ неистово-величественныхъ, долженъ былъ признать в проявляемомъ безуміи наличность какой-то системы. Двойной ритмъ движеній обладалъ своего рода пре-

лестію, и Позинскій согласенъ былъ понять, какое удовольствіе можетъ доставить надежно укрытымъ зрителямъ недурно обставленное историческое действіе. И еще живѣе интересовался объясненіемъ происходящаго.

Но такъ какъ ни строчки текста не последовало в до-полненіе къ позамъ, — а онъ зналъ, что громко произнесенное слово достигнетъ его слуха, — то онъ началъ напрягать, какъ никогда раньше, свое зреніе и чувства, все болѣе и болѣе сердясь на то, что вопреки его принципамъ расходуется столько энергіи. Онъ приготовился уже разражаться сочной бранью по адресу пантомимирующей четы, когда до него докатились баритональные раскаты первыхъ словъ:

«Отъ рукъ моихъ умретъ онъ. Я убью его!» И кулакъ юноши недвусмысленно и величественно размахнулся в пустомъ пространствѣ, что вызвало приливъ сладострастнаго ужаса къ спинному мозгу Позинскаго, увереннаго в своей безопасности. Но вместе съ темъ для него было несомненно, что если даже дойдетъ до убійства — все это слишкомъ ужъ раздуто, принимая во вниманіе скудное, по всей вероятности, питаніе преступника в последнее время.

Ответъ девушки: «О, кровавое злодейство!» произнесенный безъ особаго подъема, не вызывалъ, самъ по себѣ, в слушателѣ впечатленія нелепаго преувеличенія, но былъ по существу излишнимъ. Ведь и безъ словъ ясно, что молодѣнькая девушка изъ скромной мещанской семьи не можетъ такъ просто согласиться на злое дело. Только это же возраженіе могъ бы привести Позинскій и противъ дальнѣйшихъ словъ мужчины: «Все преступленія прощены впередъ. Я способенъ на худшее, такъ я и сделаю!» Говорившій владелъ своею мимикой. Правда, конструкцію первой фразы Позинскій находилъ неудовлетворительной. Можно было почти бесспорно сделать выводъ объ иудейскомъ происхожденіи говорившаго. Верхомъ банальности явился

опять-таки ответ малютки: «О ужасно, ужасно!» Вообще, мужской элемент выказывал себя духовно более одаренным, поскольку можно было говорить об интеллигентности при данных обстоятельствах.

Но тут слова, которые прошипел мужчина: «Всажу кинжал я в грудь и королеве, пред алтарем я клятву дал во гневе», подняли ситуацию (если опустить вопрос о рифмах, случайных и безвкусных) до уровня, не дающего, правда, повода к попыткам ее оправдания, но являющего тяжкое зрелище ослепления этих молодых людей, вместе с миллионами других живущих.

Стало ясно теперь, в чем дело: этот недоедающий по-веса, несмотря на свое недоедание, решился-таки на убийство коронованного лица! Или, вернее, именно потому, что, в силу увядания клеточных ядер, собственного его существования не хватило бы и на недели, телесная слабость и распад хромозом породили в нем болезненное опьянение, которым тщеславие воспользовалось для героического подъема и для того, чтобы сорвать аплодисменты у невменяемой слушательницы. Девять десятых всех исторических подвигов, осенило вдруг Позинский, являются следствиями различных стадий недоедания. Пустота в желудке гонит, как только-что доказал этот долговязый репей, особого рода ядовитый газ к мозгу и, лишая человека силы сопротивления, бросает его куда попадало.

Несколько секунд думал он о жертвах предполагаемого убийства и перебирал в уме монархов Европы. Но сразу же потом был охвачен мыслью: не грозит ли ему первому опасность со стороны этого, спущенного голодом с цепи? Ясно было, они знают о нем. Кое-какие наблюдения несомненно производились и с той стороны, невзирая на все его предосторожности, тем же путем, какому он обязан был своим опытом. И если нечего было,

повидимому, опасаться за себя лично, то во всяком случае известны были его обильные трапезы. О них слишком явно и соблазнительно свидетельствовал жирный чад, трижды в день опускавшийся во двор. Даже и сейчас стоял по всей округе запах изжаренной им курочки.

Может быть, его-то они как раз и заметили? Потому и шопот, и молниеносное выключение света два вечера подряд? Знают, что за ними следят, и шепчутся теперь о нем и его обстоятельствах?

А что же голодному ближе как не это: насытиться? Ясно было без рассуждений, что тот, кто не отступает перед государственным преступлением, не побоится и взлома; и когда Позинский представил себе, что только одна стена, не слишком толстая, отделяет его продовольственный склад от соседней квартиры, он приготовился уже бежать в полицию и запротokolить все слышанное. Инстинктивная боязнь осведомлять правительственные учреждения о своих делах удержала его. В тот же вечер он обстоятельно исследовал степень безопасности своего тайника с той, соседской стороны. Опасаясь, что при закрытой дверце шкафа не слышно будет воровской работы соседей, Позинский вытащил четырехугольную заслонку и пододвинул кровать ближе к отверстию. Хотя и получила уверенность, что взлом застанет его наготове, все же о спокойном сне нечего было и думать, несмотря на револьвер на ночном столике. Если он не бодрствовал, лежа и содрогаясь всеми нервами от малейшего шума, то видел отвратительные сны. Перед рассветом: отчаянный человек в черной маске уткнул его головою в мешок с какао, и Позинский чувствует, что задыхается, хрипя, в коричневой пыли.

Три дня и три ночи, в течение которых во вражеском лагере все было тихо, явились для него ужасающей мукой. Горячей пищи он не решался готовить из страха перед

кухонным чадом и, сбитый с такта, потерял к концу третьего дня на этом приключении тысячу сто двадцать грамм. Двенадцатого марта чистый его вес был только сто семьдесят два фунта. Слезы ярости навертывались на глаза, и уже рождалась в глубинах мстительная ненависть.

На четвертый вечер он решился было пойти к сумасбродной соседке и расспросить, кто она такая и каковы ее намерения, как неожиданно наваждение в окне напротив продолжилось. Только что тени успели выступить на передний план, как девушка закричала, — нет, завопила, — с энергичным жестом, как бы защищаясь от юноши, — этого не ждал Позинский от нее ни при каких обстоятельствах:

«О, кто меня от ярости спасет?»

Парень — сумасшедший, это было теперь несомненно — раньше чем совершить преступление (ибо о нем знали бы из газет) обратился против своей же соучастницы, сбитый с пути чувством непрестанной пустоты в желудке. В трех шагах от Позинского могло каждый миг совершиться новое преступление. Но тут словно пеною облили бедную девушку слова: «За службу и возмездье по заслугам!»

Значит, малютка была зачинщицей рискованного предприятия, а мужчина, как и всегда, эротическою жертвою. Теперь он приглушенным голосом спрашивал ее, не скрывавшую своего отвращения:

«За что отважный кровь как воду льет?»

Невзирая на ужасающую серьезность положения, Позинский не мог сдержать улыбки. Но тот, не давая времени ответить, сам пояснил тут же:

«Кто жив, тот счастлив тем, что он живет».

Позинский, заметивший новую рифму, готов уже был почувствовать жалость к говорящему в виду слишком

явной глупости сентенции, и несколько успокоенный, прислушался к дальнейшему:

«Безумец тот, кто силы расточает; нет, на груди его я отдохну».

Когда он затем как тигр набросился на онемевшую девушку и привлек ее к себе, Позинский, при всей щекотливости положения, был почти доволен, что этот неделовой человек переходит, повидимому, от слов к делу. Возникшее у Позинского под влиянием последних тирад сомнение в действительности происходящего подтвердилось слишком явно и почти болезненно, когда оба участника игры резко оборвали вдруг тон взволнованности, и раздалось совершенно по-иному:

«От рук моих умрет он. Я убью его». И в ответ последовало: «О, кровавое злодейство!» — со стороны девушки. Тут, прежде чем созрела последняя уверенность, что дело идет всего лишь об актерской репетиции, разразился Позинский таким громовым смехом, таким ревом восторга, сопровождаемым сумасшедшими ударами кулаков по столу, что оба, застигнутые врасплох, моментально прекратили свое занятие, тени их выросли, заполнили оконные рамы, и занавеска начала подниматься вверх. Две юных физиономии появились перед Позинским, оголенным и дерзко ухмыляющимся — и штора быстро опять опустилась.

* * *

Страх перед соседями теперь, во всяком случае, прошел. Он вновь и вновь представлял себе их выпады, ходульный романтизм, размахивание кинжалом и сердечные уверения, всю эту высокопарщину на скверном немецком языке, и долго еще хихикал про себя, чтобы потом заняться приготовлением ужина. Писателя, кото-

рого они декламировали, он не знал; но чем дольше мешал он и болтал ложками в кастрюлях, тем казалось ему возмутительнее, что люди имеют право даже при нынешних обстоятельствах преподносить публике высосанный из пальца вздор в столь выпяренном стиле и отвлекать ее своим скудоумием от насущных дел. Относительно наказуемости комедиантов, воплощавших все эти сумасбродства, сомнений не было. Напротив, их наивность, при отсутствии критического отношения к делу, только усиливала вину. Но вместе с ними виновны были и правительство, и театральные власти, облегчавшие существование этим романтическим фальсификаторам жизни, вместо того, чтобы постараться ускорить их голодную смерть. Лживость прослушанных стихотворных строк вызывала в нем непреодолимое желание разразиться порцией отборных ругательств. Но как ни кривил он губ, как ни морщил носа, как ни выпячивал глаз, не приходило на ум слово, достаточно крепкое для того, чтобы выразить степень волновавшего его отвращения.

Столетиями одурачивались таким образом народы. Чернь, уставясь в землю рылом, слушала какую угодно бессмыслицу, если та преподносилась ей в размеренных и рифмованных строках. Готовая проглотить любую галиматью, смаковать всей глоткой научную и историческую дребедень, извращения, выдумки и гипотезы из тысячи областей представления, она упускала из виду физический уход за собою.

Разве не было, на ряду с этим, эстетическим наслаждением наблюдать, как коровы в сараях, козы, наконец, свиньи методически впитывают в себя грязное месиво, с какой теллоосвежающей приятностью погружается язык в пойло, хлюпают раздутые губы, при чем в глазах животных отражается мистическое довольство? И какое пищеварение начинается после этого! Скотина проталкивает

прослуженную пищу внутрь, в пищевод, со всей страстью готовясь ради пользы телесной перемолоть ее сначала там, а потом в первом, втором, третьем и четвертом желудке, по очереди, до последней возможности.

Позинский, при этой мысли, забыл на миг свое раздражение и, погрузившись в представление о процессе жвачки, почувствовал острую зависть к привилегированным тварям. Но, в конце концов, из созерцания образов подлинной действительности возникла еще более жгучая ненависть к приукрашивающим жизнь принципам.

Отбросив задержки, отдался он всецело одному изначальному чувству: месть убившим действенное природное начало в человеке! Племена идейных штамповщиков, homo sapiens'у и созерцательно-трансцендентальным умам! Вон их, в помойную яму! Здесь земля, здесь и рай! Из солнечного тепла и обильного питания возникают кровавые шарики, рождаются чудеса хромозом. Целые народы занимаются тем, что лежат на песке и дуют в тростник.

По этим причинам соседи, перестав быть его личными врагами, стали противниками по вере, на которых он мог с глубочайшим убеждением обратить всю полноту своего гнева. Когда теперь доносились до него стихи, в которых юноша пытался с непосредственным чувством овладеть этой женщиной, стоявшей перед ним, и она запрещала ему малейшее прикосновение, ссылаясь на общие правила морали или на особенные обстоятельства, — говорила, например:

«Любовью вашей первой была
Елизавета. Пусть второю будет
Испания. Охотно, добрый Карл,
Я уступлю возлюбленной славнейшей». —

и добрый Карл отвечал с готовностью (лежа у ног ее, охваченный страстью) и не делая даже попытки склонить

к своим желаньям особу, обожаемую на протяжении всей пьесы:

«Небесная, как вы великолепны!
Исполню все, чего хотите вы!»

в Позинском накопало желание разmozжить обоим вздыхателям головы утюгом. И в то время как поток новых жестов изливался на занавес, он, доходя до безумия в своем бешенстве, мысленно перечитывал горы бумажных прописей, под которыми от конца восемнадцатого столетия до нынешних дней задыхалась живая сила его народа. Начиная от гениально-громовых сантиментов Шиллера, через смешную шлейермахеровщину вплоть до бранденбургских трактатиков Ратенау в духе ренессанса — во всем этом чуял он, как никто до него, гиппократовскую идею.

Он уже решился было на открыто-враждебное выступление против наиболее для него достигаемых представителей этого мирозерцания, как привычная жизнь на той стороне вдруг оборвалась, и холодом повеяло от спущенной темной занавески. Так как потемки и тишина ничего ему больше не говорили, он осторожно пробил долотом в задней стене своего потайного шкафа отверстие в комнату соседки и, не обращая внимания на сквозняк, приложил глаз. Там, словно в инсценировке хорошо задуманной картины уюта, неподвижно скорчилась на постели девушка. В двух шагах от нее сидел, в единственном приличном кресле, рыцарь без страха и упрека. У обоих было торжественное выражение лиц и конечности расположены соответствующим образом. В общем все походило на выставочные *intérieurs*’ы, по испытанным образцам. При этом Позинский с первого взгляда понял, что дело идет на этот раз о последних явлениях настоящей трагедии, связанной с состоянием девушки.

Наблюдая усердно за обоими в течение часа, он не заметил ни одного движения; только время от времени вздрагивал глаз, и луч из него стрелою устремлялся к глазу. А в промежутках слышались монументальные вздохи.

Наконец в комнату вошел посторонний, нащупал пульс больной и стал считать. Юноша отвернулся в пустоту. Врач говорил то и се, но снова и снова подчеркивал, что для успеха дела необходимо сразу же поставить питание больной на исключительную высоту. При этих словах веселость отразилась в глазах девушки и печаль — в лице мужчины. Еще раз врач жестом подтвердил мысль об усиленном питании, сказал что-то про шоколад и портвейн, и когда лежавшая от улыбки даже просветлела, пожал плечами и ушел.

Позинский резко опустил сжатые кулаки и пробормотал резюме: недоедание! Вот чем кончился душевный маскарад! Конечно, в настоящее время ни один мало-состоятельный человек не питается как следует, но при рациональном использовании получаемого корма и тщательном контроле над чувством и разумом всякий выживет. Здесь налицо жертва наследственно-навязчивых представлений, наглядный пример смертельной опасности, проистекающей из общения с скользко-символичным.

Но это началось еще с Гомера. Там уже ничего не появляется, на худой конец, само по себе, а всегда «словно бы». Платон решительно расправился с действительностью и поставил на ее место искусно припомаженную идею вещей. Эта покойница, там — если она и дышала еще, для Позинского она была в известном смысле человеком конченным — лишилась души благодаря слишком сильным дозам платоновского эйдоса.

Там, напротив, еще долгое время держались плаستيчески. Все, что имели сообщить на земле юноша и

девушка, отливалось в бронзовые формы. Даже слезы текли словно металлические. Скрежетавший зубами наблюдатель имел возможность вновь воспринять всю символику скульптурного происхождения. Будто из каталогов галлерей всех стран, дефилировали перед ним любовь, вера, надежда, страх, скорбь и, наконец, отчаяние. Каждая из абстракций, отложившаяся в мимике на протяжении тысячелетий, воплощалась правильно. Фигурировал мимический элемент философский, сказочный, религиозный и буколический. И нагляднее всего и чаще всего — элемент мировой драматической литературы. Последний, смертельный вздох малютки был, словно клише, по Шекспиру.

И в особенности жест телохранителя: Он падает на стул и прикрывает лицо руками! Клавиво, пятый акт, явление первое. Так, в течение ряда лет, мимически оплакивал Кайнц кончину Марии Бомарше.

Когда все было кончено, и Позинский зажил опять привычной спокойной жизнью, любуясь лучшими картинами, бок-о-бок с покинутой квартирой, он использовал воспоминание об обоих для того, чтобы вместить в представление о них весь символический и исторический хлам, какой есть на земле, и чтобы, осуждая их, каждый раз отвергать и всю область соответствующих понятий. Теперь, не подвергая проклятию каждого отдельного случая экстаза в истории, он с отвращением представлял себе смерть юной актрисы. Тут налицо была, с одной стороны, искуснейшая, в пределах возможного, мимика и, с другой — самая жалкая действительность; разыгранное в блаженно-красочных тонах Успение и поистине страшная, собачья смерть.

Восторг и успокоенность бурно прорвались в нем, словно он обрел классический опыт жизни. Он открыл последнюю жестянку молодых куропаток, откупорил

единственную бутылку настоящего старого ликёра. К полнейшему его удовлетворению, голодная и полная решимости толпа осадила, разграбила по всем правилам искусства и в конце разнесла мясную лавку напротив его окон. И при этом обезобразила чету хозяев, избив их весьма и весьма основательно.

Мир расстился перед ним в розовом полусвете, подобный роскошному лугу, источающему к небесам гиацинтовый запах тучных трав. А он, крупный и уверенно-спокойный экземпляр жвачных, будет пастись до последнего своего блаженного дня в этих безмятежных степях.

Среди благоуханной ясности, неземного света, опять заглясь однажды вечером в соседней квартире лампа. Позинский воспринял с досадой факт появления нового квартиранта, и вдруг без всякой причины острая боль внезапно пронизала его, так что он задрожал всем телом. Еще ничего не зная, он с высоты блаженства разом низвергнулся в отчаяние.

Вслед за тем немедленно произошло в действительности следующее: словно исполин Роланд, некий Голем, сидела опять тень того, казалось, исчезнувшего из его жизни мужчины, сидела на краю постели умершей, с первого же мгновения приняв осанку статуи. Комок подкатился к горлу Позинского, угрожая задушить его, и пот выступил на поверхности тела. И потом все внутри перевернулось от ожидания ужасов.

А там, напротив, мужчина был как мраморный. Ни одного движения не проявлялось в нем, несмотря на расхлябанный костяк; все вместе казалось отлитым из металла, и, в конце концов, человек уподобился бронзовому колоколу, у которого оторван звучный язык.

Позинский стоял с раскрытым ртом, высунувши язык. Проходили часы за часами. Фигура юноши, в мертвой неподвижности, утратила функциональную жизнь и была

как статуя, пока утренний рассвет не стёр ее очертаний на занавеске. Тем энергичнее прошибало потом Позинского. Он знал, что теперь наново поставлено на карту — и в решающей форме — все самое главное. Теперь тот, другой, приложил рычаг к винту Целого, и с напряжением всех усилий пытается вывернуть его из всех зубчатых сцеплений. Здесь его воле противится воля, не менее одухотворенная. Настало время дать живое свидетельство своей убежденности. Предстоит доказать, что, при равной степени проникновения верою, хорошо упитанный человек легко посрамит и в конец уничтожит худосочного.

Уже с раннего утра принялся Позинский варить и тушить перед открытым окном, во множестве горшков, всякую лакомую всячину. Тонкий запах лука, острых пряностей назойливо внедрялся в обоняние того, постника. А потом поднялись ошеломляющие пары запеченного в горшке теста. У самого повара потоком хлынула слюна по небу из тысячи языковых бугорков; а тот, нюхающий издали, надо полагать, высунул язык до пупа. Через короткие промежутки он вплоть до вечера насыщал воздух все более и более неотразимыми запахами, с тем, чтобы при первых лучах искусственного света насладиться зрелищем своей обессиленной жертвы.

Но когда на светлом полотне появилось опять темное лицо, на этот раз близко, круглое и большое, в чертах его можно было прочесть, как на освещенном транспаранте:

«Отвергаю твое тушное счастье и знаю, что бессмертен!»

Всем туловищем выпятился Позинский в окно, чтобы за афишированным, евангельски-блаженным довольством своего противника увидеть подлинное человеческое страдание. Но по мере приближения к темному облику, все сильнее действовали на него напряженные его излучения;

розово-багряными змеями кружились они вокруг его головы и пламенными лентами взвивались в воздух, взывая: «Слава! Истинная жизнь рождается во мне. В яростном опьянении блаженства мертвит себя моя кровь и рушит стены! Выть и лаять готов я от радости, готов взлететь, клубами подняться к возлюбленной! Повсюду раскроюсь я, разделюсь; ароматом проникну в растения, сиянием в солнце; себя, о наконец, себя самого утрачу!»

Кровавыми лоскутами раскололся мозг Позинского. На одной стороне видел он святого Антония, коленопреклоненного в пламенном углу. Овеянный шумящими знаменами, являлся, на другой, он сам, Позинский, сверхжизненно великий.

Он слышал, как собственный его голос, в резком окрике, покрыл все звуки и уловил еще слова: «Гниль на удобрение! Материи место! Утренняя заря!»

Потом раздался грохот выстрела, звон разлетевшихся стекол, и перед мстительно-сверкающим взором Позинского голова его смертного недруга поникла на полотне как скошенный чертополох.

K O H T A K T

DER ANSCHLUSS

Когда в Прощеное Воскресенье встали в сумасшедшем доме из-за отличного обеденного стола и собрались уже, с сигарами в зубах, засесть за карты и шахматы, отворилась дверь столовой, и ассистент пропустил вперед господина, боязливо озиравшегося.

Но Гейденштам тотчас же подошел к пришелицу, представился ему и сказал:

— Здесь вы среди джентльменов и, ручаюсь, будете чувствовать себя хорошо. Позвольте узнать вашу фамилию.

Вошедший поклонился и ответил достаточно громко для того, чтобы все могли услышать:

— Позинский!

Знакомство таким образом состоялось, и его любезно пригласили на партию ската, при каковом случае он и проиграл семьсот восемьдесят пять фишек.

Только после того как, утомившись, уселись за кофе, Гейденштам спросил Позинского: не водворен ли он сюда в качестве арестованного, для наблюдения за его душевным состоянием; и когда тот, покраснев, ответил утвердительно, вопрошавший сказал:

— Повидимому, вы в пластической форме заявили одно из убеждений, которые нежелательно допускать в массе. Было поэтому последовательно водворить вас сюда, в мирную обстановку. Смотрите, чтоб не пришлось вам вернуться!

После этого предоставили новому обитателю дома несколько дней для того, чтобы он привык к другой обстановке, бережно отнеслись к робости его и попыткам уединиться, к слезам, которые трудно было скрыть, короче, ко всем признакам глубокого смятения, собственного человеку, видящему, что связующие его с прежним миром нити порваны, а новая связь еще не налажена. В отношении этого были щепетильно-корректны. Все без исключения стремились держаться так, чтобы показать ему, что он находится в первоклассном учреждении и может на них положиться. При этом упорно подчеркивали свою личность, как таковую, с тем, чтобы новичек понял, что люди здесь, в противоположность ему, охотно помирились со своим безумием.

Ибо видно было сразу: Позинский все еще не мог решиться признать себя сумасшедшим в житейском смысле. Скорее он имитировал душевную болезнь, чтобы уйти от законного наказания, и имитировал, как все соглашались, плохо. Но, невзирая на его актерство, каждый чувствовал к нему доверие. Они полагали, что ему следовало предоставить себя своей природе, чтобы стать равноправным сумасшедшим и участником, наравне с ними, того полного благополучия, которое предоставлялось этим учреждениям всякому, утверждавшему свою личность. Нелепое честолюбие Позинского — изображать перед врачами, что он может и хочет вместить идеи внешнего мира, — не только усложняет его положение, как арестанта, в том смысле, что он может быть передан в распоряжение властей как лицо, ответственное за свои поступки, но, прежде всего, отнимает у него счастливо предоставленную ему перспективу зажить здесь свободной жизнью.

Когда затем, по мнению Гейденштама, вновь прибывший совершил в этом смысле ряд тяжких ошибок, тот

счел своею обязанностью безотлагательно заняться им, наглядно представить ему фатальность его положения.

Сначала Позинский отклонял, казалось, со страхом всякие попытки приближения к нему. Но Гейденштам угадал, что тот еще не уверен в нем, как в настоящем больном, считает его правительственным шпионом, задавшимся целью выспросить и предать его. Поэтому он в присутствии Позинского закатил пощечину старшему сторожу, вежливо попросившему о чем-то, разбил все стекла в одном из окон, так что пейзаж внезапно ворвался в комнату, и увидел, что отныне новичек признает подлинность его состояния.

И он обратился к Позинскому:

Гейденштам: — Вы знаете, здесь ни с чьей стороны не грозит вам здравый рассудок и проистекающие из него неприятные следствия.

Позинский: — Повидимому.

Гейденштам: — Позвольте высказать вам свое первое и непоколебимое убеждение: несмотря на это, я считаю вас вполне сумасшедшим. Пытаюсь симулировать перед лицами, надзирающими нормальное душевное состояние, вы обнаруживаете только перед самим собою и перед нами свою круглую глупость.

Позинский: — Милостивый государь!

Гейденштам: — Станете вы отрицать, что относительно кое-чего есть у вас личное убеждение, от которого вы ни за что не откажетесь?

Позинский: — Это правда.

Гейденштам: — Вы полагаете, что я и все другие здесь отличаемся от нормальных людей чем-нибудь другим? Все мы до конца защищаем одно единственное понятие, ценность которого вытекает из специальных соображений, что это понятие для нас необходимо.

Позинский: — Что же, это разумно.

Гейденштам: — Разумным именуется вывод, который делается миром на основании опыта, приобретенного другими и предполагаемого правильным. Но мы, в полном сознании своего «я», попросту не считаемся с опытом умерших и живущих. Нам свойственно слишком высокое понятие о свободе, чтобы ставить наши выводы в зависимость от каких бы то ни было предвзятых мнений.

Позинский: — Если быть последовательным, то и ваши собственные утверждения, к которым вы пришли раньше, не должны ни в коем случае иметь цены для нового поступка, так как и они отпадают. Вы же говорите, что защищаете все одно подлинное, устойчивое понятие.

Гейденштам: — Одно единственное. А именно: иметь смелость быть свободным в своих действиях.

Позинский: — И это — тоже только бредовая, навязчивая идея.

Гейденштам: — Я никогда не утверждал, что я здесь — без всяких оснований. Я говорю только: я совершенно свободен от каких-либо навязываемых мне идей, не считая одной навязчивой идеи — быть свободным. А те, кто на свободе, связали свою независимость предвзятыми суждениями. Свобода для них дело, к которому они подходят, связанные всей совокупностью прошлого.

Позинский: — И так как у вас только одна, а не тысяча навязчивых идей, вы считаете себя свободнее других?

Гейденштам: — Безусловно. А вы, кажется, еще почти целиком держитесь того мнения, что в поступках своих, и здесь, как там, должны развигать только такого рода свободу, чтобы врачи, руководствуясь данными наблюдениями, могли спасти вас от

карающей Немезиды, как действовавшего, в логическом смысле, «безумно».

Позинский: — Так вы полагаете?

Гейденштам: — Здесь вы имеете возможность быть вне всякой логики сумасшедшим. В этом-то и есть нелепое блаженство пребывания здесь, — пойми это, человек!

Позинский: — Человек!

Гейденштам: — Только вам следует сразу же избежать начальной опасности. Дело в том, что как только медицинский персонал заметит, что вы безумны вне всякого опыта и здравого смысла, они сначала сочтут вас за грубого симулянта именно потому, что вы не проявляете научно протекающего безумия.

Позинский: — Вот, вы сами видите опасность!

Гейденштам: — Что делать, все мы в большей или в меньшей степени стоим перед такой дилеммой. Ибо, конечно, на нас действуют беспомощные взгляды, какие бывают у наших опекунов, когда мы ни за что не хотим втиснуться в их клише, и они пытаются мерами увещания и принуждения вызвать нас на сумасшедшие выходы, предусмотренные учебниками и опытом.

Позинский: — И?

Гейденштам: — Тут, невзирая на бесспорный риск, вы должны положиться на ваше здоровое безумие, которое в решительный момент само по себе приведет вас к грандиозному акту, неподдающемуся прогнозу, потому что это не будет действием предумышленным. Оно обезоружит врачей, приобретающих такими путями, задним числом, новый опыт.

Позинский: — А если это само собою не случится? Очень уж большой риск.

Гейденштам: — Тут-то и закорючка! Помните, я начал разговор с того, что чувствую в этом отношении

к вам большое доверие. Но не мне, а вам следует это чувствовать. Вопрос, в какой степени склонны вы ожидать от себя чего-либо подобного.

Позинский: — Могу опираться, в этом смысле, только на опыт.

Гейденштам: — Нет. Потому что опыт, даже собственный, как я предполагаю, дал бы вам слишком большую уверенность. Без сомнения, вы, как и большинство из нас, потому здесь, что совершили какое-нибудь насилие, несоответственное с вашей прежней жизнью. Позвольте спросить, какое именно?

Позинский: — Я застрелил человека.

Гейденштам: — Значит, приобрели недурное свидетельство вашей дееспособности. И все-таки не должны в будущем опираться на него.

Позинский: — На что же?

Гейденштам: — На вашу природную суть. Чувствуете вы в себе, в конечном счете, соответствие с нею?

Позинский: — Безусловно.

Гейденштам: — Когда-нибудь изменяла она — я говорю именно о ней — вам?

Позинский: — Никогда.

Гейденштам: — Довольны вы, — в общем и целом, — что вы Позинский?

Позинский: — И еще как!

Гейденштам: — Тогда думать не о чем. У врачей система. У вас природа. А так как вы и в дальнейшем намерены жить в соответствии с нею...

Позинский: — Как так, в соответствии? В зависимости от нее.

Гейденштам: — Да ведь она то же, что вы. Так и предоставьте дело ей. Не действуйте только ей наперекор, не вывихните ее соображениями, основанными на чужих домыслах. Предупреждаю!

Позинский покинул собеседника. Так далеко он не зашел еще, чтобы всякий профессор философии, какой-нибудь Гейденштам имел право ставить ему ловушки своими шутками о «свободе на основе природной несвободы». Но когда остыло раздражение, вызванное тем, что чужой человек вмешивается в его частные дела, Позинский признался сам себе, что следует без предубеждения проверить, так ли уж далеки воззрения этого Гейденштама от его собственных. Собственно говоря, тот не сказал ничего такого, что шло бы в разрез со взглядами, энергичному проведению которых он обязан пребыванием в этом доме. Гейденштам, если он его правильно понял, хочет быть свободным по отношению к будущему, совмещая это с зависимостью от своей природы в прошлом. Но разве он, Позинский, убивая человека, не был таковым же в крайней степени, и разве природа его не требовала теперь от него внешнего, свободного признания — что акт этот полностью вмещается в пределы права на самого себя? Разве не оправдывал он в душе всецело своего поступка, он, который ни до его совершения, ни после ничего не мог возразить против? Разве не было бы искажением собственной личности — лицемерно делать вид, будто он — хотя бы отчасти — понимает, что совершил «преступление» — и в то же время не чувствовать раскаяния в душе? До сего времени Позинскому неважно было уяснить себе свой свободный поступок; гораздо более интересовало его найти безошибочно верный путь, уклониться от ответственности, которую хотело наложить на него общество.

Но после рассуждений Гейденштама ему начало становиться все более и более ясным, что здесь ничего не добьешься полумерами, хитроумными увертками. Если уж где-нибудь должно установить полное единство, чтобы внезапно не разверзлась пропасть — так установить

именно здесь. Здесь оставалось только отважно идти знакомым уже путем: решительно дать место своей природе. А это достигалось не отрицанием ее, а громогласным, торжественным утверждением. Кровь прилила к голове Позинского, и он окончательно убедился в правильности своего понимания. И он обратился к Гейденштаму со следующими словами:

Позинский: — Уплотните мне ваше недавнее мнение, профессор.

Гейденштам: — Я не профессор. Если вы обратили внимание на стройность моих доводов, то я скажу вам: после того как я отрешился от идейного хлама, освободился от принудительных форм мышления, мне автоматически ничего не осталось другого, как познать истину. Но я рад, что вы говорите: «уплотните». Вы, значит, ждете уже, что я не стану убеждать вас причинами, а буду действовать чувством. Пребывая свободным и предоставляя вам свободу, я не стану приводить доводов, но во время моей речи из меня будет исходить нечто, на все влияющее непосредственно.

Позинский: — Уже исходит. Помимо слов, вы на меня сильно действуете.

Гейденштам: — Хотите, я буду молчать и предоставляю место атмосфере чувства?

Позинский: — Всего лучше.

Они стали смотреть друг на друга, и обоим стало тепло. После паузы Позинский продолжал:

Позинский: — Вы правы! Я отрешаюсь от всего бывшего. Обращаюсь к другому, мне предстоящему.

Гейденштам: — «Думать» — это всегда прошлое.

Позинский: — Полжизни занимаешься этим и, неустанно утверждая в мыслях то, что пережито кем-то, где-то и когда-то, сам сгниваешь заживо.

Гейденштам: — Чувствуйте самого себя! Без предвзятости и критического отношения, со всею страстью — что переживает человек «убивший». Сами доведите до конца дело, вышедшее так легко из вас самих, не позволяйте чужим делать выводы по их общественному кодексу и обращать все ваше убийство в труху.

Позинский: — Главного врача, если он еще раз вмешается в мое дело, я пну сапогом в лицо.

Гейденштам: — Вы на правильном пути! И не собьетесь, если постоянно будете помнить: вы на пути действия, буквально чреватого сенсациями, до известной степени на передовых позициях человечества. Отважнее вас — я никого не видел, и я тоже примкну, если вы сами по себе сделаете шаг. Только не попятитесь назад, не теряйте единственного случая насладиться своею собственною девственностью.

Позинский: — Можно узнать, по какому поводу вас поселили здесь?

Гейденштам: — Я купил миллион коробок спичек, чтобы внести свет во всевозможные темные углы. Сначала дело шло хорошо, пока я, охваченный жаждой просвещения, не подступил слишком близко к своей жене, и она нечаянно не выскочила в открытое окно.

Позинский: — На смерть?

Гейденштам: — Вы напоминаете мне — я забыл спросить об этом. Впрочем, это неважно, ибо, если не говорить о том, что она, иудейка, была замужем за лютеранином, в ней не было ничего интересного.

Позинский: — Позвольте! То, что вы говорите, цинично. Вы без запинки признаетесь, что это происшествие с дамой результат скорее несчастного случая, чем необходимости для вас, и в то же время не находите нужным справиться о ее самочувствии!

Гейденштам: — Чистейшая рассеянность, без всякого злого умысла.

Позинский: — Это слишком! Когда я стер с лица земли человека, дело шло попросту о том: он или я. Для нас обоих не было места на свете. Он исключал меня, я — его. Я стрелял, защищаясь.

Гейденштам: — Вы все еще устанавливаете связь вашего поступка с уложением о наказаниях, хотя и с возвышенной точки зрения. Хотите показать, что тут была самозащита, как ее понимает закон, необходимость такого именно рода, что вы действовали по мотивам, поддающимся логическому обоснованию, хотя бы эти мотивы для начала ясны были только вам и никому больше.

Позинский: — Но вы сказали...

Гейденштам: — Свобода! Необходимость не при всех обстоятельствах свобода. Большею частью наоборот.

Позинский посмотрел на него смущенно и с удивлением, не вполне понимая, что он хочет сказать.

Гейденштам: — Разве вы не понимаете, что есть два рода необходимости, и что один из них свобода, другой рабство? Один представляет собою, хотя бы и сидя внутри вас, не природный голос долга, а сводку идейных рецептов человечества, с которым вы через «разум» связаны словно пуповиною. Только другой род, за которым вы не признаете никакого права, кроме права «случая», который именно и является протестом против коллективного разума, есть истинная свобода.

Позинский: — Но мой собственный разум, которому наплевать на разум других?

Гейденштам: — Всякий разум есть взаимодействие мышления. Связь со всем миром. А помимо того, еще сравнение, опыт. Вашего разума вы не можете

исключить из общей системы и, если тяготеете к нему, должны подчиниться всем выводам и решениям, к которым он приходит. А тогда вы сели в изрядную лужу с вашим убийством.

Позинский: — Я знаю только, что всей природой своей был против этого человека.

Гейденштам: — Я полагаю. Но осветим этот вопрос основательнее.

Позинский: — Все клеточки мои возмущались.

Гейденштам: — Против его физического облика?

Позинский: — Тоже.

Гейденштам: — Гм.

Позинский: — Но особенно против того, что он изображал и думал.

Гейденштам соорудил крайне мрачную мину. Он взял Позинского за руку и повел его в сторону, в угол.

Гейденштам: — Раз вы так говорите, вы признаетесь, собственно, в отвратительном преступлении. Я считал ваш случай слишком примитивным, считал, что вы слишком рано выкинуты с пути общечеловечности.

Кто, скажите пожалуйста, установил, что думал ваш противник? Что возмущалось? Да разум! Ибо никаким другим путем не могли вы притти к суждению о его мыслях. Но мы выяснили, что разум есть непринадлежащая человеку составная часть, путы, которыми общество приковывает его к себе. Это попросту социальный орган, реакция, общий канон, привитый ему путем дрессировки. Но от каких свойств другого человека может отвращаться коммунизм, в вас заключенный?

Свой вопрос он оставил без ответа и прибавил озбоченно:

— Бедный друг! Теперь я знаю, что вы отделались от человека потому, что вам не понравилось в нем его собственное «я», его изначальнейшая сущность. Вы,

любезнейший, сделали то, что проще простого определяют врачи и выведут из вашей свободной воли. В своем отзыве братия эта с одушевлением использует ваш случай, выведет из него с предельной ясностью факт вашей нормальности в том смысле, что вы виновны, трижды виновны. По моему, иначе быть не может.

Позинский: — Ваши словоизвержения оставляют меня холодным. Вот вам доказательство, что вы не до конца вдумались в мою историю.

Гейденштам: — Вашему убийству навяжут самым жалким образом мыслительную механику, словно пук пряжи. Узелка его не найдется в нем.

Позинский: — Я говорю вам, я холоден как лед.

Гейденштам: — Вы убили по соображениям критики, по уставу корпорации: *Vive la corporação!* Не Позинский, а господин Позинский убил, сообразуясь с общим благом. И самое большее, что вы можете ждать от общества, это смягчающих обстоятельств, потому что вы храбро бились не на своем личном, а на общественном посту.

Тут Позинский вскипел. Ибо в катаклизме чувств поддерживала его предпосылка, что в борьбе с фалангою раздутых, идеальных «я» он являлся представителем своей в высшей степени собственной персоны. И так как в данный момент он не мог привести никаких доводов против разъяснений Гейденштама, он схватился за ножку стула и сделал выпад против врага, который уклонился, перепрыгнув через стол. Потом он высунул вслед убегающему язык во всю длину, помахал кулаками и поспешил в свою комнату, где натянул себе на голову одеяло.

Но в душе у него клочкотал мятеж. Где-то, в каком-то месте заедало канаты, поднимавшие из глубины груди грузы ощущений. Наново попытался он оживить в себе

свой поступок, не путем воспроизведения его по памяти, — он знал, что память, в качестве предпосылаемого опыта, развенчана, — а посредством прямого чувствования, надеясь таким способом уловить, вопреки утверждению Гейденштама, самопроизвольность совершившегося. И действительно: снова ощутил он всеми своими нервами сладостное опьянение убийства; зародыш убийства, развиваясь в самоутверждение, все более и более властное, животное и без мыслей претворился в оглушительный звук выстрела, вызвавший в нем наново такой прилив сладострастия, что последовал оргазм.

Нет, подвиг его был чист и незапятнан. Скорее уж в направлении мыслей Гейденштама был недостаток — стрелка не на тот путь поставлена. Ему бы нужно было вместо того, чтобы разъяснять дело словами, недоступными пониманию, привить каким-нибудь образом чувство совершившегося. То-есть именно то, чего требовал он, по отношению к врачам, от самого Позинского.

А Позинский, не напрягая воли как раньше, органически наслаждался теперь тем, что избавлен от мыслей о своем положении. Когда слышались у двери шаги врачей или сторожей, сердце больше не трепетало. Он не обращался в страхе к воспоминаниям, обстоятельствам дела и соображениям о целях, а оставался спокойно и убежденно сам собою и только еще больше чувствовал через посредство других свою личность, в уверенности, что в любой нужный момент она избавит его от любой опасности примитивною демонстрацией своей силы.

Их вопросы были теперь для него воздухом, без всякого вкуса. Когда они методически подходили к нему с гипотезами, дедукциями и доказательствами, анализировали и исчисляли степени вероятности, занимались статистикой, индуцировали, каталогизировали и приходили, наконец, на основании шаткого заключения к синтезу,

он сквозь них видел прерию, пылающую печь, и ощущал обаяние пространства и тепла.

В тех случаях, когда руки главного врача мелькали перед его зрачками, он изображал легкий позыв к рвоте и рыгал явственно; его оставляли в покое, качая головою, и он с шумом и треском извергал содержимое своего нутра и потом неудержимо хохотал от чистейшего блаженства.

О предстоящем отзыве врачей он не заботился. Для него было важно одно: поддерживать в себе возбуждение убийства путем глубокого внушения, словно наркотиком, и он расчетливо все повышал дозы.

Но помехою в деле нового, вящего самоутверждения был сухопарый Гейденштам. Он не скрывал от себя, что этот человек оказался наиболее сильным типом из встречавшихся ему, и Позинский чувствовал, что рантье каким-то образом превосходит его в смысле возможностей счастья. Когда прокурор и главный врач стали уже тенью, фигура Гейденштама слишком еще пластично выпирала отовсюду на ряду с его, Позинского, телом. И между тем в пище и питье был он безусловно умерен, как установил Позинский, сам забиравший лучшие куски со стола.

Чувство зависти вызывал в нем Гейденштам более совершенной регулировкой своего «я», большею близостью к минимуму трения, свойственной ему и делавшей для него возможным затрачивать на себя значительно меньше горячего материала, чем требовалось для Позинского. И если он и неправ был по отношению к Позинскому, поскольку дело касалось высказанных о его поступке мыслей, то все же в этом человеке заключена была высшая возможная на земле мудрость, и он был необходим Позинскому как пища и питье. Потому он ходил кругом и около Гейденштама до тех пор, пока тот не спросил наконец:

— Ну?

Позинский: — Неправда!

Гейденштам: — Голову на отсечение!

Позинский: — Никоим образом.

Гейденштам: — Коммунар!

Позинский: — Скорее уж эгоист.

Гейденштам: — Смех, да и только.

Позинский: — Пари? Серьезно, я полон собой и могу вас в этом убедить совершенно. Вы все еще не установили со мной должного контакта. К тому, что сообщено вам, необходимо добавить: суть словоизвержений убитого и состояла именно в пресловутой идее самоотречения, в социальной чувствительности, в банкротстве «я». Конечно, я формулировал этим словом его преступление уже после; убрать его составляло для меня давнишнюю физическую потребность.

Гейденштам: — Он был монах, священник? Или по учебной части?

Позинский: — Актер.

Гейденштам: — Вы его убили во время профессиональных занятий?

Позинский: — Нет. В тот момент, когда на смертном одре своей возлюбленной он совершал психическое хакари при бенгальском освещении. А что?

Гейденштам: — В качестве проповедника в каком-либо смысле и при исполнении своих обязанностей он мог изливаться по шаблону, за плату, будучи человеком испорченным или имея в виду интересы семьи. Но, кажется, в соответствии с планом мироздания жребий отречения избрал он в силу абсолютно личной потребности. Поэтому, если и признать за вашим страстным желанием убить его характер первичный и допустить, что критика является лишь приводящею, все-таки остается: вы уничтожили такого же как вы самоопределившегося

человека. Или вы тут же спешно объявите его полной противоположностью этому?

Позинский: — Не отрицаю, он, повидимому, был полон собою и убежден совершенно.

Гейденштам: — Ну, и?

Позинский: — В столкновении двух страстно упорствующих на своем личностей должна уступить слабейшая. Таковою оказался по счастью он.

Гейденштам: — В столкновении, говорите вы? Но откуда ему взяться в данном случае, когда два человека стремятся в сущности к одному и тому же, к своему «я»? Нет, после того, как явилась у вас первоначальная, животная антипатия к тому человеку, вы усилили ее путем суждения о нем и обострили при посредстве логического вывода. Вы смешили одно с другим; и вы не станете утверждать, что в момент совершения дела в вас не было хотя бы крупицы интеллектуального раздражения по поводу духовных его притязаний?

Позинский: —

Гейденштам: — Хорошо. Заметьте, основная линия налицо.

Остается возможность, что и первичное ваше, произвольное отвращение могло бы усилиться до потребности убийства. Хотя это невероятно, так как физическое неудовольствие может быть урегулировано и рассеяно ветром, солнцем, всяким пустяком.

Во всяком случае, не приходится больше обосновывать дело только физически-непреодолимым отвращением и вытекающею из него чисто физической самозащитой, которая бы исключала содействие духа. Как любая рядовая личность, вы дали себя увлечь социальному побуждению. Вы действовали как нормальный человек, исходя все-таки из духовного акта, из критики, в предположении «лучшего знакомства» с идеальным «я».

На это вы тоже ничего не отвечаете, и я понимаю вашу трагедию. Вы — убийца той силы, которою вы сами претендуете обладать в исключительной мере.

Лично я согласен, в интересах дальнейшего вашего хорошего самочувствия, допустить добровольно, что физическая реакция против него была так необычайно сильна в вас, что должна была привести к катастрофе и без содействия установленных нами социальных импульсов, — но большего я для вас сделать не могу. Вы видите, мучительно трудно все-таки ликвидировать остатки того мира. И вы, свободный человек, попались на удочку социальных инстинктов.

Позинский: — А ваша жена, на смерть разбившаяся?

Гейденштам: — Она — примерная иллюстрация. Я просто так вошел в комнату, ничего не имея против бедняжки. Как и все, она была мне приятна и родственна. Без умысла я стихийно источал высокое напряжение, Гейденштамовское. А в ней — она была в рубашке и панталонах — возник, из духа противоречия, экстаз, внезапно, и она пожелала осознать себя в высшей потенции, и прямоком двинулась к окну. От меня она заимствовала подъем своего «я», чувство равноценной высоты; оно и привело ее к концу. Словом, блаженное самовознесение. А вы просто столкнули того человека в царство небесное.

Позинский, узнав, что в поступке, таком ясном для него самого, оказывается какой-то изъян, был смущен настолько, что забыл спросить убегающего Гейденштама, ставит ли тот ему в упрек простительную в общем ошибку или же неправоту, коренящуюся в характере, какую-то нетерпимость, которая подобно морали щепетильно считается с людьми и исключает личную свободу.

Он хотел было побежать за ним и силой вынудить его на последнее объяснение. Но тут он почувствовал потреб-

ность осознать сначала на самом себе ту ошеломленность, тот хаос, который пришел на смену полной ясности по поводу убийства, и наново, изнутри ориентироваться лучше, чем при помощи каких угодно умных слов Гейденштама.

Бесстрашно пошел он ближайшим путем. Допустил наличность логической непоследовательности, которую и предстояло ему выяснить перед тем как расстаться с этим миром. Он представлял себе, как раскрывает перед врачами свои побудительные мотивы, вплоть до того внезапного ошибочного вывода, который и явился причиной несчастья. В воображении он выслушивал умные реплики собеседников, имеющие целью пополнить возможные изъяны его доводов, чувствовал, как по мере его рассказа вспыхивает то остро-сладостное настроение, которое устанавливается в среде мыслящих мужчин всякий раз, как округлится что-либо духовное или последняя логическая подробность стройно войдет в систему. Тронутый, видел он, как слезы навертываются на глаза врачей, как пожимают они ему руки и как прощает ему снисходительно точная наука одну единственную ошибку в мышлении, ошибку, от которой не застрахован и самый толковый человек. Во всяком случае, духовная подготовка его убийства из ряда вон выходящая, то, что он проделал, в высшей степени замечательно, в психологическом смысле первоклассно, и будет при всяких обстоятельствах фигурировать в учебниках в качестве красочного примера.

Таким образом, вместо мук, которых он опасался, пришел прочный восторг, являющийся достоянием каждого, кто в действиях своих руководился высшим планом, хотя бы и неудавшимся. Продолжая размышлять, он находил не столь уж дурную перспективу своей казни, если представить, что прокурор, пастор и палач всецело захвачены обаянием его, преступника, личности.

Набравшись, таким образом, для начала, мужества, он более смело ударился в область морали. Стал представлять себе, что он поступил дурно, хотя бы и в состоянии ослепления, что у него есть совесть и что он обязан пере-чувствовать все, что чувствует рядовой человек, раскаивающийся в своей неправоте.

Это раскаяние принимало у него в воображаемых разговорах с врачами и с духовником фантастические формы. Он видел свою, беспримерную даже в истории, смятенность, когда кровь претворяется в слезы и слезы в кровь. В чаду поздних сожалений бьется он лбом о каменный пол трибунала до крови и в столь вдохновенном вое заявляет о желании исправиться, что главный судья покидает свое кресло, склоняет перед ним колени, сам плачет и осушает ему слезы. А в момент обезглавления многотысячная толпа раздражается такими стонами, таким, в конце концов, единым нервы надсаживающим воплем, сопровождаемым притом непременно раскатами грома в небе, что этот эффект отодвигает в тень все другие, и он, собственно, мало даже замечает, что ему срубили голову.

Установив таким образом, с логической и этической точки зрения душевное равновесие в отношении возможной своей ошибки или неправоты, он порывался теперь, для полноты хорошего самочувствия, насладиться и художественным восторгом, доступным, по обстоятельствам дела, для «виновного».

К причинам преступления можно было относиться в данном случае свободнее. Тут, на полотне, личность значительная, выступая на фоне потревоженного мешанства, должна была, в силу гениального художественного замысла, действовать по первому и последнему взгляду только внушающей своею пластикою и незабываемой красочностью.

Здесь Позинский был в своей стихии. Ему припомнились художественные воплощения всех великих ужасов человеческих. Он видел красочные темницы, с известковыми бликами света на лицах заключенных, поразительно сконструированные эшафоты и костры, всю ту вакханалию палитры, в масле и темпере, в которой, на радость человечеству, всегда воплощалось в живописи зло.

В конце концов, представляя себе, как под топором палача кровь его кармином и киноварью брызнет в лужу ультрамарина и лазури, он почувствовал специфически багровое блаженство и решил, что, если вина его и неоспорима, в особенности с точки зрения Гейденштама, то сам для себя он вправе взглянуть на дело с эстетической стороны преимущественно, и что последний миг, воспринятый и рассматриваемый в этом освещении, должен вызвать в нем блаженную судорогу, которая, в случае если бы он уклонился от правосудия, никогда и ни при каких обстоятельствах не была бы им испытана.

Для него было несомненно, что блаженство, основанное на эстетике, не могло бы наступить само по себе, без блаженства, вытекающего из соображений логики и морали; все эти три вида блаженства, отдельно и в совокупности, должны разыграть в его душе умиротворяющую и ликующую симфонию.

В жаркие лихорадочные ночи пришла к Позинскому просветленность относительно того, что казалось сначала только наитием. Он понял к какой цели стремилось человечество на протяжении тысячелетий, трояким образом проверяя психологически суть своего сознания: к троекратному апофеозу. К громогласному тушу, которым приветствовали каждое проявление жизни разум, успокоенная совесть и, наконец, чувство прекрасного. Система эта представляла всестороннюю и безошибочную страховку против свойственного человеку, как и всякому

другому существу, непонимания смысла своей жизни и развития.

Из *causa efficiens* получалась, таким образом, минувшая все слишком и только человеческое, некая небесная *causa finalis*, благодаря чему можно было спокойно шествовать, имея опору, ибо любая катастрофа оказывалась позолоченною. В то время как путь, предлагаемый Гейденштамом, путь признания собственных инстинктов, представлял собою не только головоломную, но и пустынную и безрадостную прогулку, к которой Позинский почувствовал внезапный страх как к безвоздушному пространству.

Прав был Гейденштам, и нельзя было оспаривать его прозорливости: столь односторонне и категорически Позинский никогда, пожалуй, не утверждал верности своему «я» и независимости от других. Конечно, он решительно отвергал общечеловеческое как основное блюдо ежедневного меню, но, в конце концов, допускал его как приправу и соус в том случае, когда был сыт как следует и не страдал малокровием.

Слишком радикальный смысл придал Гейденштам с самого же начала его порыву к самоутверждению, и счастье, что во-время успел Позинский выработать более возвышенный и общий взгляд на себя самого.

Чем больше упивался он восторгом своего страдальческого пути, чем более устойчивую форму принимали в воображении этапы предстоящих мук, — к пестро-красочным опьяняющим представлениям примешивалось уже ликование успокоенной совести, — тем более охватывал его страх, что Гейденштам может еще до наступления решительного момента опять совратить его на путь своих идей и что вместо славной смерти, обеспеченной ему при помощи ученых и духовных установлений, его ожидает

жалкая, хотя и в высшей степени индивидуализированная изоляция в сумасшедшем доме.

* * *

Проснувшись однажды утром со слезами, растроганный своей идеей, длительным улучшением и просветлением, он прямо из кровати выскочил в комнату дежурного врача и громогласно потребовал, чтобы его немедленно выпустили для явки к властям. Он действует в полном рассудке, обдуманно, помнит и сознает всякую подробность и чувствует раскаяние, как полагается. Никто не смеет лишать его более права на подобающее и законом предоставленное наказание. Немедленно требует он водворения в карцер. В этом карцере и без того разыгрывались в фантазии его душевные переживания, и ему надоело зря тратить энергию на то, чтобы с трудом вообразить себе все это. Когда не захотели сразу исполнить его желание, ссылаясь на отсутствие старшего врача, без которого нельзя ничего предпринять, с Позинским произошел первый, разыгравшийся по всем правилам, припадок бешенства, с судорогами и обязательной пеной у рта, и пришлось успокоить его многочасовой ванной. Случилось, что в соседней ванне оказался Гейденштам, и сначала они молча лежали друг подле друга, вытянув параллельно голые тела, в то время как на бортах ванн, болтая, сидели сторожа. Но Гейденштам затянул внезапно песню:

«Не знаешь ты моей души, моей души, моей души!» и продолжал так некоторое время, несмотря на то, что Позинский, опустивший голову до уровня воды, не обращал ни малейшего внимания ни на песню, ни на певца. Но сосед по ванне пустился, наконец, в такие раскаты, что Позинский потребовал прекратить «безобразие».

Гейденштам: — В песне нет намека на вас.

Позинский: — То-есть: песнь намекает на меня. Но я знаю свою душу и настоятельно прошу оставить меня в покое. Все равно, вам не долго осталось досажать мне.

Гейденштам: — Когда же вы приступаете к гала-церемонии, под шопеновский похоронный марш «Ах, неужели все истрачено?»

Вместо ответа Позинский обеими руками плеснул из ванны в лицо противнику целую горсть воды, после чего сторожа призвали обоих к порядку.

Гейденштам: — Чтобы вы были в курсе: жена, о недавней смерти которой я узнал вчера, просила меня кланяться. Она — разумеется — не сердится на меня.

Позинский: — Кельнер, счет!

Гейденштам: — Счет ваш будет немалый. Разве что вы, как истый трактирный пройдоха, ускользнете от расплаты. Вы, кажется, окончательно решились на это.

Позинский: — Вы забываете, мы здесь не одни.

Гейденштам: — Сторожа? Вы видите, что эти несчастные, принимающие докторскую тарабарщину за нивесь какую мудрость, смеются над нашим безумием.

Позинский: — Через три ванны от нас сидит господин Конрад.

Гейденштам: — Да ведь господин Конрад, снова и снова пересчитывающий волосы на своем животе, душевно-больной, до которого нам столько же дела, сколько до «наделенных здравым рассудком» сторожей.

Позинский: — Прошу вас раз навсегда не причислять меня больше к категории, в которой вы претендуете числиться.

Гейденштам: — Я поступаю как мне угодно.

Позинский: — А я оспариваю это ваше право.

Гейденштам: — Это вы делаете потому, что, подавшись панике, совершенно утратили контакт с самим собой.

Позинский: — Никакого контакта. Конец!

Гейденштам: — Жизнь, это — контакт с собственной природой. Тогда я называю ее свободой. А иначе распад. Рабство.

Позинский: — Конец! Конец!

Гейденштам: — Конец!

Сторожа: — Конец, господа!

Разговор прекратился, началось плесканье и игра в пузыри.

Когда вечером Позинский лежал в постели, к нему подошел старший врач вместе с ассистентом и спросил, действительно ли он переменял все свои прежние взгляды и исполнен решимости. Позинский разразился своею первою, давно уже заготовленною речью, в которой каждый период, каждая пауза были отточены. Он разгорячился до легкого пота, который избавил его от дурных соков и создал в нем приятную тягу, как в высоком камине. Он уже чувствовал вкус меда на губах, хотя пока успел только осветить дело с точки зрения логики, не упомянув еще ни единым словом про совесть и раскаяние. Но слушатели стояли уже, потрясенные до мозга костей, и были в восторге; так всегда среди мужчин — какое угодно лукавство округляется, в конце концов, в нечто цельное. В сущности они и сейчас уж были готовы разразиться по первому знаку громовым ура.

Когда все было сказано и поступок Позинского был обточен до степени круглости бильярдного шара, как некий духовный символ, катящийся в желаемом направлении, его покинули. Он остановился, и дыхание в нем совершалось с деликатностью, подобную которой можно

наблюдать не столько в природе, сколько в пейзажах Констебля.

Все-таки настроение было таково, что если бы они, всецело захваченные, не сдержались, они бы его обняли и поздравили. Если доктор Шпиндлер и не решил еще вопроса, то сущность его, Позинского, духа характеризовалась все-таки тем, что лежит в основе всякого высокого акта мысли: любовно продиктованным участием конечной человеческой личности в существенном содержании всех возможных вещей. Что должно, вероятно, означать: он был подвинут на свой поступок любовью к человечеству? Таким путем одно и то же обстоятельство все же находило себе более приличное выражение, чем в гейденштамовском циничном: попался на удочку общественной морали.

Вообще Гейденштам!

Взамен того, чтобы помолиться, он, засыпая, начисто покончил с ним при помощи четырех односложных слов.

* * *

Он не знал, был ли то сон или действительность, но он явственно услышал слово «контакт». Он прислушался напряженнее, и вот раздался голос Гейденштама:

— Назад, к самому себе—в этом направлении контакт!

Позинский высоко подскочил во мраке и увидел, что на краю его постели сидит в одной рубашке Гейденштам. Взоры его блистали дружелюбием, и это умерило раздражение Позинского.

Гейденштам: — Что-то в ночной тишине подсказывает мне, все-таки, уверенно: как и я, вы являете высшую степень одиночества, и я не в праве оставить вас в состоянии нынешнего ослепления.

Позинский хотел уже вцепиться в него, но Гейденштам тут же схватил его за руки и начал их поглаживать без

слов, с нежностью глядя на него. Потом он заговорил шопотом, и столько ласки было в его голосе, что Позинским овладела головокружительная слабость и он без всякого сопротивления стал прислушиваться к дальнейшему.

Гейденштам: — Как и другие, ты актер, брат мой, не уходишь со сцены и из-за кулис, и не можешь представить себя без толпы зрителей. Но единожды, в возвышенный миг, ты, отворотившись от публики и от роли, утвердил самого себя, и этот вопль личности и теперь еще потрясает своими звуковыми волнами мировое пространство столь громко, что я в ночной час влекусь к твоему ложу. Где бы ни свершался в мире контакт, я всегда должен был следовать ему. Я вслушивался во все, в чем видел закон, не желающий быть законом.

Почему же ты не следуешь далее за собой, брат мой? Пусть, как говорил я, поступок твой только начало ряда заблуждений. Но когда-то раньше твое «я» было все-таки сильнее в тебе, чем в миллионах других, и под золой и пеплом даже сейчас еще дымится огонек твоей лампадки.

Не тебя люблю я. Очень люблю я себя самого. Но я люблю, что ты себя любишь и понимаешь, что для успеха у зрителей, как раз в последнем акте, требуется себя-любие. И допускаю, лучшего ухода с сцены не может быть, чем тот, который ты готовишь.

Но тебя не влечет более изысканное — когда ты получаешь способность овладеть высшим наслаждением: из-за кулис, от оркестра и суфлера, от аплодисментов уйти в самого себя — к себе, чтобы умирая, в час, когда голова твоя упадет к ногам, сохранить неутраченным самого себя.

Чтобы, оставшись после падения занавеса единственным зрителем самого себя, ты все еще созерцал что-то живое, не обездушенное. Постигаешь ты оглушительное блаженство этого последнего, решительного успеха?

Позинский: — Словами «после падения занавеса» вы намекаете на нечто метафизическое, чего я не признаю.

Гейденштам: — Миг, о котором я говорю, лежит именно по эту сторону. Это — тот, когда толпа, вдоволь налюбовавшись вашей выдержкой, обратит свое внимание на топор палача и его быстрый взмах. Миг, когда вы останетесь один наедине с собою.

Позинский: — Он не имеет относительной длительности.

Гейденштам: — Он находится в конце и является моментом живейшего восприятия.

Позинский: — Значит, конец.

Гейденштам: — И контакт с первичным дыханием.

Тут кровь бросилась в голову Позинского и окрасила разом его лицо.

Позинский: — И я, как в момент рождения, стал бы снова?..

Гейденштам: — Цельным.

Позинский: — Более сочным, полнокровным...

Гейденштам: — Сохранив себя в самом себе, ты, очистившись от родительских шлаков, оказался бы годным для дальнейшего созидания.

Чисто искусственным было твое отклонение от этого пути. Так долго дурачила тебя эстетика...

Позинский: — Так долго разыгрывал передо мною театр тот парень, что и я, в согласии с драматической техникою Густава Фрейтага, должен был почувствовать, для последнего действия пьесы, потребность в оглушительном эффекте.

Это так, клянусь тебе, брат мой! И, значит, все-таки три четверти вины лежит на другом, и мне, самое большее, можно вменить в вину состояние возбуждения.

Гейденштам: — Каковое и оправдывает тебя, согласно закону. Ты, значит, отвергаешь наказание?

Позинский: — С сознанием права и решительно! И ты увидишь, как ловко внушу я миру свое убеждение.

Гейденштам: — Теперь тебя выпустят неохотно и будут чинить препятствия. Напор гражданской чувствительности так силен в них, что требует разряда. Целая коллегия заготовила тосты и поминания в честь тебя, и «исчерпать» дело — большое удовольствие для каждого.

Вместо ответа Позинский, с криками и ликованием, поднял такую радостную пляску, сначала в комнате, среди мебели, а потом и за порогом, в соседних помещениях, что Гейденштам, спасаясь бегством, отступил к своей постели, прежде чем встревоженный персонал отовсюду собрался к нарушителю ночной тишины. Но никакого особенного разочарования не проявили врачи на другой день, когда им донесли о выходе Позинского, и они немедленно навестили его. Очевидно, они не слишком уверены были в происшедшей в нем перемене и быстро поняли его наново измененный и враждебный замысел. Намекнули даже, что не очень удивятся, если завтра опять застанут его полным раскаяния и виновности. А впрочем и прежде всего, ему не следует «тревожиться о самом себе», все «устроится», и пусть он не теряет аппетита. Так что Гейденштам, когда Позинский рассказал ему о своих объяснениях, решил, что опасность миновала навсегда и что товарищ его признан начисто сумасшедшим даже и с точки зрения науки.

Сам главный врач, чувствуя, очевидно, что исключительной натуре и подобает нечто особенное, прочитал ему вслух донесение, адресованное судебным властям на сорок второй день пребывания Позинского в его заведении:

«Состояние Бруно Позинского, находящегося здесь с 15 февраля в целях наблюдения за его душевным равновесием — не поддается, несмотря на двухмесячный тщательный уход, точному определению. Мы не в силах установить при помощи известных науке методов, здоров ли этот человек или душевно-болен, в обычном смысле этого слова. Но есть полная уверенность, что он так далек от состояния духа, свойственного, в общем, человеческой среде, что пребывание его в таковой связано с опасностью для нее. А в момент совершения преступления, как и при всех других, наблюдавшихся здесь состояниях аффекта, он был, во всяком случае, лишен свободного, то-есть поддающегося контролю общественной совести волеопределения, что дает основание применить к нему в полном объеме § 51 Государственного Уголовного Уложения».

Перевел с немецкого

В. Зоренфрей

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Вандербилт	7
Пулярда	33
Позинский	61
Контакт	95

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

ЦЕНА.

Г. Д'Аннунцио	— „Ноктюрн“	1 р.—к.
П. Бенуа	— „Атлантида“, роман	70 „
„	— „Дорога гигантов“, роман	75 „
С. Бржозовский	— „Зарево“, роман из эпохи на- родовольцев	1 р. 25 „
Г. Верфель	— „Человек из зеркала“, пьеса	60 „
К. Гамсун	— „Соки земли“	—
Г. Гауптман	— „Зимняя баллада“, пьеса	33 „
П. Гзель	— „Беседы А. Франса“	75 „
О. Генри	— Рассказы	80 „
„	— „Короли и капуста“, роман	90 „
Г. Гольст	— Лирические драмы	45 „
С. Лагерлев	— „Гномы и люди“, рассказы	35 „
Р. Маран	— „Батуала“, африканский роман	—
М. Маркс	— „Женщина“, роман	50 „
М. Меттерлини	— „Белая невеста“, пьеса	—
К. Мейринк	— „Годем“, роман	70 „
Ж. Ромэн	— „Донгоо-Тонка“, кинематографи- ческий роман	25 „
Р. Роллан	— „Кола Бреньон“, роман	70 „
„	— „Пьер и Люс“, роман	35 „
„	— „Клерамбо“, роман	1 р.—
„	— „Аннет и Сильвия“, роман	—
Э. Синклер	— „Сто процентов“, роман	75 „
Дж. Синг	— „Герой“, пьеса	55 „
А. Франс	— „Жизнь в цвету“, роман	80 „
Л. Франк	— „Человек добр“	65 „
Г. Уэллс	— „Неугасимый огонь“, роман	40 „
Ф. Унру	— „Род“ и „Площадь“, пьесы	—
К. Эдшмид	— „Шесть притоков“, новеллы	60 „
„	— „Тимур“, новеллы	—
Экспрессионизм	— Сборник статей с иллюстрациями	—

Все цены указаны в золоте по курсу Нот. ком.

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ВЫШЛИ В СВЕТ ИЗДАВАЕМЫЕ
„ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ“

ЖУРНАЛЫ:

„СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД“

КНИГИ 1-я, 2-я и 3-я.

ПОД РЕДАКЦИЕЙ: *Е. И. Замятина, А. Н. Тихонова,
К. И. Чуковского и Абр. Эфроса.*

ПЕЧАТАЕТСЯ № 4.

„ВОСТОК“

КНИГИ 1-я и 2-я.

ПОД РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА *С. Ф. Ольденбурга,*
АКАДЕМИКА *И. Ю. Крачковского,* ПРОФЕССОРА
В. М. Алексеева, ПРОФЕССОРА *Б. Я. Владимирцова*
и *А. Н. Тихонова.*

ПЕЧАТАЕТСЯ № 3.

Торговый сектор Государственного Издательства:

МОСКВА, Ильинка, Биржевая площадь, Богоявленский пер., 4.

ПЕТРОГРАД, Проспект 25-го октября (Невский), 28.

Магазины в Москве:

- 1) Советская площадь (под гост. „Дрезден“).
- 2) Моховая, 17 (под гост. „Националь“).
- 3) Больш. Никитская, 13 (здание консерватории).
- 4) Никольская ул. 3.
- 5) Серпуховская площадь (из).
- 6) Кузнецкий мост, 12.

Магазины в Петрограде:

- 1) Проспект 25-го октября (Невский), 28.
- 2) Проспект Володарского (Литейный), 21.
- 3) Проспект 25-го октября, 13.
- 4) Проспект 25-го октября, 68.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА"
ПЕТЕРБУРГ
Моховая №36
